



В.М. СТАНЮКОВИЧ

МОРСКИЕ
РАССКАЗЫ

К.М.Станюкович. «Морские рассказы» //Издательство «Юнацтва», Минск, 1981
FB2: "Ustas ", 2006-07-11, version 1.0
UUID: D3DD3405-861A-4EF6-8E52-C6B0B6BB17BA
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

Нянька
(«Морские рассказы»)

Содержание

#1	0006
I	0006
II	0009
III	0016
IV	0020
V	0028
VI	0037
VII	0046
VIII	0055
IX	0063
X	0067
XI	0071
XII	0087
XIII	0093
XIV	0100
XV	0107
XVI	0110
XVII	0118
XVIII	0127
XIX	0134

**Константин Михайлович
Станюкович
Нянька**



Господин Туркун, Шурка, Мария Ивановна



Однажды вешним утром, когда в кронштадтских гаванях давно уже кипели работы по изготовлению судов к летнему плаванию, в столовую небольшой квартиры капитана второго ранга Василия Михайловича Лузгина вошел денщик, исполнявший обязанности лакея и повара. Звали его Иван Кокорин.

Обдергивая только что надетый поверх форменной матросской рубахи засаленный черный сюртук, Иван доложил своим мягким, вкрадчивым тенорком:

— Новый денщик явился, барыня. Барин из экипажа прислали.

Барыня, молодая видная блондинка с большими серыми глазами, сидела за самоваром, в голубом капоте, в маленьком чепце на голове, прикрывавшем неубранные, завязанные в узел светло-русые волосы, и пила кофе. Рядом с ней, на высоком стульчике, лениво отхлебывал молоко, болтая ногами, черноглазый мальчик лет семи или восьми, в красной рубашке с золотым позументом. Сзади стояла,

держала грудного ребенка на руках, молодая худощавая робкая девушка, босая и в затасканном ситцевом платье. Ее все звали Анюткой. Она была единственной крепостной Лузгиной, отданной ей в числе приданого еще подростком.

— Ты, Иван, знаешь этого денщика? — спросила барыня, поднимая голову.

— Не знаю, барыня.

— А как он на вид?

— Как есть грубая матросня! Безо всякого обращения, барыня! — отвечал Иван, презрительно выпячивая свои толстые, сочные губы.

Сам он вовсе не походил на матроса.

Полнотелый, гладкий и румяный, с рыжеватыми намасленными волосами, с веснушчатым, гладко выбритым лицом человека лет тридцати пяти и с маленькими, заплывшими глазками, он и наружным своим видом и некоторою развязностью манер напоминал собою скорее дворового, привыкшего жить около господ.

Он с первого же года службы попал в денщики и с тех пор постоянно находился на берегу, ни разу не ходивши в море.

У Лузгиных он жил в денщиках вот уже три года и, несмотря на требовательность барыни, умел угождать ей.

— А не заметно, что он пьяница? — снова спросила барыня, не любившая пьяных денщиков.

— Не оказывает будто по личности, а кто его знает? Да вот сами изволите осмотреть и допросить денщика, барыня, — прибавил Иван.

— Ну, пошли его сюда.

Иван вышел, бросив на Анютку быстрый нежный взгляд.

Анютка сердито повела бровями.

В дверях показался коренастый, маленького роста, чернявый матрос с медною серьгой в ухе. На вид ему было лет пятьдесят. Застегнутый в мундир, высокий воротник которого резал его красно-бурую шею, он казался неуклюжим и весьма неказистым. Переступив осторожно через порог, матрос вытянулся как следует перед начальством, вытаращил на барыню слегка глаза и замер в неподвижной позе, держа по швам здоровенные волосатые руки, жилистые и черные от впитавшейся смолы.

На правой руке недоставало двух пальцев.

Этот черный, как жук, матрос с грубыми чертами некрасивого, рябоватого, с красной кожей лица, сильно заросшего черными как смоль баками и усами, с густыми взъерошенными бровями, которые придавали его типичной физиономии заправского марсового несколько сердитый вид, — произвел на барыню, видимо, неприятное впечатление.

«Точно лучше не мог найти», — мысленно произнесла она, досадуя, что муж выбрал та-

кого грубого мужлана.

Она снова оглядела стоявшего неподвижно матроса и обратила внимание и на его слегка изогнутые ноги с большими, точно медвежьими, ступнями, и на отсутствие двух пальцев, и — главное — на нос, широкий мясистый нос, малиновый цвет которого внушил ей тревожные подозрения.

— Здравствуй! — произнесла, наконец, барыня недовольным, сухим тоном, и ее большие серые глаза стали строги.

— Здравия желаю, вашескобродие, — гаркнул в ответ матрос зычным баском, видимо, не сообразив размера комнаты.

— Не кричи так! — строго сказала она и оглянулась, не испугался ли ребенок. — Ты, кажется, не на улице, в комнате. Говори тише.

— Есть, вашескобродие, — значительно понижая голос, ответил матрос.

— Еще тише. Можешь говорить тише?

— Буду стараться, вашескобродие! — произнес он совсем тихо и сконфуженно, предчувствуя, что барыня будет «нудить» его.

— Как тебя зовут?

— Федосом, вашескобродие.

Барыня поморщилась, точно от зубной боли. Совсем неблагозвучное имя!

— А фамилия?

— Чижик, вашескобродие!

— Как? — переспросила барыня.

— Чижик... Федос Чижик!

И барыня и мальчуган, давно уже оставивший молоко и не спускавший любопытных и несколько испуганных глаз с этого волосатого матроса, невольно засмеялись, а Анютка фыркнула в руку, — до того фамилия эта не подходила к его наружности.

И на серьезном, напряженном лице Федоса Чижика появилась необыкновенно добродушная и приятная улыбка, которая словно подтверждала, что и сам Чижик находит свое прозвище несколько смешным.

Мальчик перехватил эту улыбку, совсем преобразившую суровое выражение лица матроса. И нахмуренные его брови, и усы, и баки не смущали больше мальчика. Он сразу почувствовал, что Чижик добрый, и он ему теперь решительно нравился. Даже и запах смолы, который шел от него, показался ему

особенно приятным и значительным.

И он сказал матери:

— Возьми, мама, Чижика.

— Taiser-vous! 1 — заметила мать.

И, принимая серьезный вид, продолжала допрос:

— У кого ты прежде был денщиком?

— Вовсе не был в этом звании, вашескобродие.

— Никогда не был денщиком?

— Точно так, вашескобродие. По флотской части состоял. Форменным, значит, матросом, вашескобродие...

— Зови меня просто барыней, а не своим дурацким вашескобродием.

— Слушаю, вашеско... виноват, барыня!

— И вестовым никогда не был?

— Никак нет.

— Почему же тебя теперь назначили в денщики?

— По причине пальцев! — отвечал Федос, опуская глаза на руку, лишенную большого и указательного пальцев. — Марса-фалом оторвало прошлым летом на «конверте», на «Копчике»...

— Как муж тебя знает?

— Три лета с ими на «Копчике» служил под их командой.

Это известие, казалось, несколько успокоило барыню. И она уже менее сердитым тоном спросила:

— Ты водку пьешь?

— Употребляю, барыня! — признался Федос.

— И... много ее пьешь?

— В плепорцию, барыня.

Барыня недоверчиво покачала головой.

— Но отчего же у тебя нос такой красный, а?

— Сроду такой, барыня.

— А не от водки?

— Не должно быть. Я завсегда в своем виде, ежели когда и выпью в праздник.

— Денцику пить нельзя... Совсем нельзя... Я терпеть не могу пьяниц! Слышишь? — внушительно прибавила барыня.

Федос повел несколько удивленным взглядом на барыню и промолвил, чтобы подать реплику:

— Слушаю-с!

— Помни это.

Федос дипломатически промолчал.

— Муж говорил, на какую должность тебя берут?

— Никак нет. Только приказали явиться к вам.

— Ты будешь ходить вот за этим маленьким барином, — указала барыня движением головы на мальчика. — Будешь при нем нянькой.

Федос ласково взглянул на мальчика, а мальчик на Федоса, и оба улыбнулись.

Барыня стала перечислять обязанности денщика-няньки.

Он должен будить маленького барина в восемь часов и одеть его, весь день находиться при нем безотлучно и беречь его как зеницу ока. Каждый день ходить гулять с ним... В свободное время стирать его белье...

— Ты стирать умеешь?

— Свое белье сами стираем! — отвечал Федос и подумал, что барыня, должно быть, не очень башковата, если спрашивает, умеет ли матрос стирать.

— Подробности всех твоих обязанностей я

потом объясню, а теперь отвечай: понял ты, что от тебя требуется?

В глазах матроса скользнула едва заметная улыбка.

«Нетрудно, дескать, понять!» — говорила, казалось, она.

— Понял, барыня! — отвечал Федос, несколько удрученный и этим торжественным тоном, каким говорила барыня, и этими длинными объяснениями, и окончательно решил, что в барыне большого рассудка нет, коли она так зря «языком брешет».

— Ну, а детей ты любишь?..

— За что детей не любить, барыня. Известно... дитё. Что с него взять...

— Иди на кухню теперь и подожди, пока вернется Василий Михайлович... Тогда я окончательно решу: оставлю я тебя или нет.

Находя, что матросу в мундире следует добросовестно исполнить роль понимающего муштру подчиненного, Федос по всем правилам строевой службы повернулся налево кругом, вышел из столовой и прошел на двор покурить трубочку.

— Ну что, Шура, тебе, кажется, понравился этот мужлан?

— Понравился, мама. И ты его возьми.

— Вот у папы спросим: не пьяница ли он?

— Да ведь Чижик говорил тебе, что не пьяница.

— Ему верить нельзя.

— Отчего?

— Он матрос... мужик. Ему ничего не стоит солгать.

— А он умеет рассказывать сказки? Он будет со мной играть?

— Верно, умеет и играть должен...

— А вот Антон не умел и не играл со мной.

— Антон был лентяй, пьяница и грубиян.

— За это его и послали в экипаж, мама?

— Да.

— И там секли?

— Да, милый, чтобы его исправить.

— А он возвращался из экипажа всегда сердитый... И со мной даже говорить не хотел...

— Оттого, что Антон был дурной человек. Его ничем нельзя было исправить.

— Где теперь Антон?

— Не знаю...

Мальчик примолк, задумавшись, и, наконец, серьезно проговорил:

— А уж ты, мама, если меня любишь, не посылай Чижика в экипаж, чтобы его там секли, как Антона, а то и Чижик не будет рассказывать мне сказок и будет браниться, как Антон...

— Он разве смел тебя бранить?

— Подлым отродьем называл... Это, верно, что-нибудь нехорошее...

— Ишь, негодяй какой!.. Зачем же ты, Шура, не сказал мне, что он тебя так называл?

— Ты послала бы его в экипаж, а мне его жалко...

— Таких людей не стоит жалеть... И ты, Шура, не должен ничего скрывать от матери.

При разговоре об Антоне Анютка подавила вздох.

Этот молодой кудрявый Антон, дерзкий и бесшабашный, любивший выпить и тогда хвастливый и задорный, оставил в Анютке самые приятные воспоминания о тех двух месяцах, что он пробыл в няньках у барчука.

Влюбленная в молодого денщика Анютка нередко пролиwała слезы, когда барин, по настоянию барыни, отправлял Антона в экипаж для наказания. А это частенько случалось. И до сих пор Анютка с восторгом вспоминает, как хорошо он играл на балалайке и пел песни. И какие у него смелые глаза! Как он не спускал самой барыне, особенно когда выпьет! И Анютка втайне страдала, сознавая безнадежность своей любви. Антон не обращал на нее ни малейшего внимания и ухаживал за соседской горничной.

Куда он милее этого барынина наушника, противного рыжего Ивана, который преследует ее своими любезностями... Тоже воображает о себе, рыжий дьявол! Проходу на кухне не дает...

В эту минуту ребенок, бывший на руках у Анютки, проснулся и залился плачем.

Анютка торопливо заходила по комнате, качивая ребенка и напевая ему песни звонким, приятным голосом.

Ребенок не унимался. Анютка пугливо взглядывала на барыню.

— Подай его сюда, Анютка! Совсем ты не

умеешь нянчить! — раздражительно крикнула молодая женщина, расстегивая белую пухлую рукой ворот капота.

Очутившись у груди матери, малютка мгновенно затих и жадно засосал, быстро перебирая губенками и весело глядя перед собою глазами, полными слез.

— Убирай со стола, да смотри, не разбей чего-нибудь.

Анютка бросилась к столу и стала убирать с бестолковой торопливостью запуганного создания.

IV

В начале первого часа, когда в порту зашабашили, из военной гавани, где вооружался «Копчик», вернулся домой Василий Михайлович Лузгин, довольно полный, представительный брюнет, лет сорока, с небольшим брюшком и лысый, в потертом рабочем сюртуке, усталый и голодный.

В момент его прихода завтрак был на столе.

Моряк звонко поцеловал жену и сына и выпил одну за другой две рюмки водки. Закусив селедкой, он набросился на бифштекс с жадностью сильно проголодавшегося человека. Еще бы! С пяти часов утра, после двух стаканов чая, он ничего не ел.

Утолив голод, он нежно взглянул на свою молодую, приодетую, пригожую жену и спросил:

— Ну что, Марусенька, понравился новый денщик?

— Разве такой денщик может понравиться?

В маленьких добродушных темных глазах

Василия Михайловича мелькнуло беспокойство.

— Грубый, неотесанный какой-то... Сейчас видно, что никогда не служил в домах.

— Это точно, но зато, Маруся, он надежный человек. Я его знаю.

— И этот подозрительный нос... Он, наверное, пьяница! — настаивала жена.

— Он пьет чарку-другую, но уверяю тебя, что не пьяница, — осторожно и необыкновенно мягко возразил Лузгин.

И, зная хорошо, что Марусенька не любит, когда ей противоречат, считая это кровной обидой, он прибавил:

— Впрочем, как хочешь. Если не нравится, я приищу другого денщика.

— Где опять искать?.. Шуре не с кем гулять... Уж бог с ним... Пусть остается, поживет... Я посмотрю, какое это сокровище твой Чижик!

— Фамилия у него действительно смешная! — проговорил, смеясь, Лузгин.

— И имя самое мужицкое... Федос!

— Что ж, можно его иначе звать, как тебе угодно... Ты, право, Маруся, не раскаешься...

Он честный и добросовестный человек... Какой фор-марсовой был!.. Но если ты не хочешь — отошлем Чижику... Твоя княжая воля...

Марья Ивановна и без уверений мужа знала, что влюбленный в нее простодушный и простоватый Василий Михайлович делал все, что только она хотела, и был покорнейшим ее рабом, ни разу в течение десятилетнего супружества и не помышлявшим о свержении ига своей красивой жены.

Тем не менее она нашла нужным сказать:

— Хоть мне и не нравится этот Чижик, но я оставлю его, так как ты этого хочешь.

— Но, Марусенька... Зачем?.. Если ты не хочешь...

— Я его беру! — властно произнесла Марья Ивановна.

Василию Михайловичу оставалось только благодарно взглянуть на Марусеньку, оказавшую такое внимание к его желанию. И Шурка был очень доволен, что Чижик будет его нянькой.

Нового денщика опять позвали в столовую. Он снова вытянулся у порога и без осо-

бенной радости выслушал объявление Марьи Ивановны, что она его оставляет.

Завтра же утром он переберется к ним со своими вещами. Поместится вместе с поваром.

— А сегодня в баню сходи... Отмой свои черные руки, — прибавила молодая женщина, не без брезгливости взглядывая на просмоленные, шершавые руки матроса.

— Осмелюсь доложить, враз не отмоешь... — Смола! — пояснил Федос и, как бы в подтверждение справедливости этих слов, перевел взгляд на бывшего своего командира.

«Дескать, объясни ей, коли она ничего не понимает».

— Со временем смола выйдет, Маруся... Он постарается ее вывести...

— Так точно, вашескобродие.

— И не кричи ты так, Феодосии... Уж я тебе несколько раз говорила...

— Слышишь, Чижик... Не кричи! — подтвердил Василий Михайлович.

— Слушаю, вашескобродие...

— Да смотри, Чижик, служи в денщиках так же хорошо, как служил на корвете. Береги

сына.

— Есть, вашескобродие!

— И водки в рот не бери! — заметила барыня.

— Да, братец, остерегайся, — нерешительно поддакнул Василий Михайлович, чувствуя в то же время фальшь и тщету своих слов и уверенный, что Чижик при случае выпьет в меру.

— Да вот еще что, Феодосии... Слышишь, я тебя буду звать Феодосием...

— Как угодно, барыня.

— Ты разных там мерзких слов не говори, особенно при ребенке. И если на улице матросы ругаются, уводи барина.

— То-то, не ругайся, Чижик. Помни, что ты не на баке, а в комнатах!

— Не извольте сумлеваться, вашескобродие.

— И во всем слушайся барыни. Что она прикажет, то и исполняй. Не противоречь.

— Слушаю, вашескобродие...

— Боже тебя сохрани, Чижик, осмелиться нагрубить барыне. За малейшую грубость я велю тебе шкуру спустить! — строго и реши-

тельно сказал Василий Михайлович. — Понял?

— Понял, вашескобродие.

Наступило молчание.

«Слава богу, конец!» — подумал Чижик.

— Он больше тебе не нужен, Марусенька?

— Нет.

— Можешь идти, Чижик... Скажи фельдфебелю, что я взял тебя! — проговорил Василий Михайлович добродушным тоном, словно бы минуту тому назад и не грозил спустить шкуру.

Чижик вышел словно из бани и, признаться, был сильно озадачен поведением бывшего своего командира.

Еще бы!

На корвете он казался орел-орлом, особенно когда стоял на мостике во время авралов или управлялся в свежую погоду, а здесь вот, при жене, совсем другой, «вроде быдто послушливого теленка». И опять же: на службе он был с матросом «добер», драл редко и с рас­судком, а не зря; и этот же самый командир из-за своей «белобрысой» шкуру грозит спустить.

«Эта заноза-баба всем здесь командует!» — подумал Чижик не без некоторого презрительного сожаления к бывшему своему командиру.

«Ей, значит, трафь», — мысленно проговорил он.

— К нам перебираетесь, земляк? — остановил его на кухне Иван.

— То-то к вам, — довольно сухо отвечал Чижик, вообще не любивший денщиков и вестовых и считавший их, по сравнению с настоящими матросами, лодырями.

— Места, небось, хватит... У нас помещение просторное... Не прикажете ли цыгарку?..

— Спасибо, братец. Я — трубку... Пока что до свидания.

Дорогой в экипаж Чижик размышлял о том, что в денщиках, да еще с такой «занозой», как Лузгиниха, будет «нудно». Да и вообще жить при господах ему не нравилось.

И он пожалел, что ему оторвало марса-фалом пальцы. Не лишись он пальцев, был бы он по-прежнему форменным матросом до самой отставки.

— А то: «водки в рот не бери!» Скажи, по-

жалуйста, что выдумала бабья дурья башка! — вслух проговорил Чижик, подходя к казармам.

К восьми часам следующего утра Федос перебрался к Лузгиным со своими пожитками — небольшим сундучком, тюфяком, подушкой в чистой наволочке розового ситца, недавно подаренной кумой-боцманшей, и балалайкой. Сложив все это в угол кухни, он снял с себя стесняющий его мундир и, облачившись в матросскую рубаху и надевши башмаки, явился к барыне, готовый вступить в свои новые обязанности няньки.

В свободно сидевшей на нем рубахе с широким отложным воротом, открывавшим крепкую, жилистую шею, и в просторных штанах Федос имел совсем другой — непринужденный и даже не лишенный некоторой своеобразной приятности — вид лихого, бывалого матроса, сумеющего найтись при всяких обстоятельствах. Все на нем сидело ловко и производило впечатление опрятности. И пахло от него, по мнению Шурки, как-то особенно приятно: смолой и махоркой.

Барыня, внимательно оглядевшая и Федоса и его костюм, нашла, что новый денщик ни-

чего себе, не так уже безобразен и мужиковат, как казался вчера. И выражение лица не такое суровое.

Только его темные руки все еще смущали госпожу Лузгину, и она спросила, кидая брезгливый взгляд на руки матроса:

— Ты в бане был?

— Точно так, барыня. — И, словно бы оправдываясь, прибавил: — Сразу смолы не отмыть. Никак невозможно.

— Ты все-таки чаще руки мой. Держи их чисто.

— Слушаю-с.

Затем молодая женщина, опустив глаза на парусинные башмаки Федоса, заметила строгим тоном:

— Смотри... Не вздумай еще босым показываться в комнатах. Здесь не палуба и не матросы...

— Есть, барыня.

— Ну, ступай напейся чаю... Вот тебе кусок сахара.

— Покорно благодарю! — отвечал матрос, осторожно принимая кусок, чтобы не коснуться своими пальцами белых пальцев ба-

рыни.

— Да долго не сиди на кухне. Приходи к Александру Васильевичу.

— Приходи поскорей, Чижик! — попросил и Шурка.

— Живо обернись, Александра Васильич!

С первого же дня Федос вступил с Шуркой в самые приятельские отношения.

Первым делом Шурка повел Федоса в детскую и стал показывать свои многочисленные игрушки. Некоторые из них возбудили удивление в матросе, и он рассматривал их с любопытством, чем доставил мальчику большое удовольствие. Сломанную мельницу и испорченный пароход Федос обещал починить — будут действовать.

— Ну? — недоверчиво спросил Шурка. — Ты разве сумеешь?

— То-то попробую.

— Ты и сказки умеешь, Чижик?

— И сказки умею.

— И будешь мне рассказывать?

— Отчего ж не рассказать? По времени можно и сказку.

— А я тебя, Чижик, за то любить буду...

Вместо ответа матрос ласково погладил голову мальчика шершавой рукой, улыбаясь при этом необыкновенно мягко и ясно своими глазами из-под нависших бровей.

Такая фамильярность не только не была неприятна Шурке, который слышал от матери, что не следует допускать какой-нибудь короткости с прислугой, но, напротив, еще более расположила его к Федосу.

И он проговорил, понижая голос:

— И знаешь что, Чижик?

— Что, барчук?..

— Я никогда не стану на тебя жаловаться маме...

— Зачем жаловаться?.. Небось, я не заbijу ничем маленького барчука... Дитё заbijать не годится. Это самый большой грех... Зверь и тот не заbijдает щенят... Ну, а ежели, случаем, промеж нас и выйдет свара какая, — продолжал Федос, добродушно улыбаясь, — мы и сами разберемся, без маменьки... Так-то лучше, барчук... А то что кляузы заводить зря?.. Нехорошее это дело, братец ты мой, кляузы... Самое последнее дело! — прибавил матрос, свято исповедовавший матросские традиции,

воспрещающие кляузы.

Шурка согласился, что это нехорошее дело, — он и от Антона и от Анютки это слышал не раз, — и поспешил объяснить, что он даже и на Антона не жаловался, когда тот назвал его «подлым отродьем», чтоб его не отправляли сечь в экипаж...

— И без того его часто посылали... Он маме грубил! И пьяный бывал! — прибавил мальчик конфиденциальным тоном.

— Вот это правильно, барчук... Совсем правильно! — почти нежно проговорил Федос и одобрительно потрепал Шурку по плечу. — Сердце-то детское умудрило пожалуй человек... Положим, этот Антон, прямо сказать, виноват... Разве можно на дите вымещать сердце?.. Дурак он во всей форме! А вы-то дуракову вину оставили безо внимания, даром что глупого возраста... Молодца, барчук!

Шурка был, видимо, польщен одобрением Чижика, хотя оно и шло вразрез с приказанием матери не скрывать от нее ничего.

А Федос осторожно присел на сундук и продолжал:

— Скажи вы тогда маменьке про эти самые

Антоновы слова, отодрали бы его как Сидорову козу... Сделайте ваше одолжение!

— А что это значит?.. Какая такая коза, Чижик?..

— Скверная, барчук, коза, — усмехнулся Чижик. — Это так говорится, ежели, значит, очень долго секут матроса... Вроде как до бесчувствия...

— А тебя секли как Сидорову козу, Чижик?..

— Меня-то?.. Случалось прежде... Всяко бывало...

— И очень больно?

— Небось, несладко...

— А за что?..

— За флотскую часть... вот за что... Особенно не разбирали...

Шурка помолчал и, видимо, желая поделиться с Чижиком кое-чем небезынтересным, наконец проговорил несколько таинственно и серьезно:

— И меня секли, Чижик.

— Ишь ты, бедный... Такого маленького?

— Мама секла... И тоже было больно...

— За что ж вас-то?..

— Раз за чашку мамину... я ее разбил, а другой раз, Чижик, я мамы не слушал... Только ты, Чижик, никому не говори...

— Не бойся, милой, никому не скажу...

— Папа, тот ни разу не сек.

— И любезное дело... Зачем сечь?

— А вот Петю Голдобина — знаешь адмирала Голдобина? — так того все только папа его наказывает... И часто...

Федос неодобрительно покачал головой. Недаром и матросы не любили этого Голдобина. Форменная собака!

— А на «Копчике» папа наказывает матросов?

— Без эстого нельзя, барчук.

— И сечет?

— Случается. Однако папенька ваш добер... Его матросы любят....

— Еще бы... Он очень добрый!.. А хорошо теперь погулять бы на дворе, Чижик! — воскликнул мальчик, круто меняя разговор и взглядывая прищуренными глазами в окно, из которого лились снопы света, заливая блеском комнату.

— Что ж, погуляем... Солнышко так и игра-

ет. Веселит душу-то.

— Только надо маму спросить...

— Знамо, надо отпроситься... Без начальства и нас не пускают!

— Верно, пустит?

— Надо быть, пустит!

Шурка убежал и, вернувшись через минуту, весело воскликнул:

— Мама пустила! Только велела теплое пальто надеть и потом ей показаться. Одень меня, Чижик!.. Вот пальто висит... Там и шапка и шарф на шею...

— Ну ж и одежи на вас, барчук... Ровно в мороз! — усмехнулся Федос, одевая мальчика.

— И я говорю, что жарко.

— То-то жарко будет...

— Мама не позволяет другого пальто... Уж я просил... Ну, идем к маме!

Марья Ивановна осмотрела Шурку и, обращаясь к Федосу, проговорила:

— Смотри, береги барина... Чтоб не упал да не ушибся!

«Как доглядишь? И что за беда, коли мальчонка упадет?» — подумал Федос, совсем не одобрявший барыню за ее праздные слова, и

официально-почтительно ответил:

— Слушаю-с!

— Ну, идите...

Оба довольные, они ушли из спальни, сопровождаемые завистливым взглядом Анютки, нянчившей ребенка.

— Один секунд обождите меня в коридоре, барчук... Я только переобуюсь.

Федос сбегал в комнату за кухней, переобулся в сапоги, взял бушлат и фуражку, и они вышли на большой двор, в глубине которого был сад с зеленеющими почками на оголенных деревьях.

VI

На дворе было славно.

Вешнее солнышко приветливо глядело с голубого неба, по которому двигались перистые белоснежные облачка, и пригревало изрядно. В воздухе, полном бодрящей остроты, пахло свежестью, навозом и, благодаря соседству казарм, кислыми щами и черным хлебом. Вода капала с крыш, блестела в колдобинках и пробивала канавки на обнаженной, испускавшей пар земле с едва пробившейся травкой. Все на дворе словно трепетало жизнью.

У сарая бродили, весело кудахтая, куры, и неугомонный пестрый петух с важным, деловым видом шагал по двору, отыскивая зерна и угощая ими своих подруг. У колдобин гоготали утки. Стайка воробьев то и дело слетала из сада на двор и прыгала, чирикавая и ссорясь друг с другом. Голуби разгуливали по крыше сарая, расправляли на солнце сизые перья и ворковали о чем-то. На самом припеке, у водозонной бочки, дремала большая рыжая дворняга и по временам щелкала зубами, ло-

вя блох.

— Прелесть, Чижик! — воскликнул полный радости жизни Шурка и, словно пущенный на волю жеребенок, бросился со всех ног через двор к сараю, вспугивая воробьев и кур, которые удирали во все лопатки и отчаянным кудахтаньем заставили петуха остановиться и в недоумении поднять ногу.

— То-то хорошо! — промолвил матрос.

И он присел на опрокинутом бочонке у сарая, вынул из кармана маленькую трубочку и кисет с табаком, набил трубочку, придавил мелкую махорку корявым большим пальцем и, закурив, затянулся с видимым наслаждением, оглядывая весь двор — и кур, и уток, и собаку, и травку, и ручейки — тем проникновенным, любовным взглядом, каким могут только смотреть люди, любящие и природу и животных.

— Осторожней, барчук!.. Не попадите в ямку... Ишь, воды-то... Утке и лестно...

Шурке скоро надоело бегать, и он присел к Федосу. Мальчика словно тянуло к нему.

Они почти целый день пробыли на дворе — только ходили завтракать да обедать в

дом, и в эти часы Федос обнаружил такое обилие знаний, умел так все объяснить и насчет кур, и насчет уток, и насчет барашков на небе, что Шурка решительно пришел в восторженное удивление и проникся каким-то благоговейным уважением к такому богатству сведений своего пестуна и только удивлялся, откуда это Чижик все знает.

Словно бы целый новый мир открывался мальчику на этом дворе, и он впервые обратил внимание на все, что на нем было и что оказывалось столь интересным. И он в восторге слушал Чижика, который, рассказывая про животных или про травку, казалось, сам был и животным и травой, — до того он, так сказать, весь проникался их жизнью...

Повод к такому разговору подала шалость Шурки. Он запустил камнем в утку и подшиб ее... Та с громким гоготом отскочила в сторону...

— Неправильно это, Лександра Васильич! — проговорил Федос, покачивая головой и хмуря нависшие свои брови. — Не-хорошо, братец ты мой! — протянул он с ласковым укором в голосе.

Шурка вспыхнул и не знал, обидеться ему или нет, и, сделав вид, что не слышит замечания Федоса, с искусственно беззаботным видом стал ссыпать ногой землю в канавку.

— За что безответную птицу обидели?.. Вон она, бедная, хромлет и думает: «За что меня мальчик зря зашиб?..» И она пошла к своему селезню жаловаться.

Шурке было неловко: он понимал, что поступил нехорошо, — и в то же время его заинтересовало, что Чижик говорит, будто утки думают и могут жаловаться.

И он, как все самолюбивые дети, не любящие сознаваться пред другими в своей вине, подошел к матросу и, не отвечая по существу, заносчиво проговорил:

— Какую ты дичь несешь, Чижик! Разве утки могут думать и еще жаловаться?

— А вы полагаете как?.. Небось, всякая тварь понимает и свою думу думает... И промеж себя разговаривает по-своему... Гляди-кось, как воробушек-то зачиликал? — указал Федос тихим движением головы на воробья, слетевшего из сада. — Ты думаешь, он спроста, шельмец: «чилик да чилик!» Все

нет! Он, братец ты мой, отыскал корму и сзывает товарищей. «Летите, мол, братцы, кантовать вместе! Вали-валом, ребята!» Тоже — воробей, а небось понимает, что одному есть харч не годится... Я, мол, ем, и ты ешь, а не то что потихоньку от других...

Шурка присел рядом на бочонке, видимо заинтересованный.

А матрос продолжал:

— Вот хоть бы взять собаку... Лайку эту самую. Нешто она не понимает, как сегодня в обед Иван ее кипятком ошпарил от своего озорства?.. Тоже нашел над кем куражиться! Над собакой, лодырь бесстыжий! — с сердцем говорил Федос. — Небось, теперь эта самая Лайка к кухне не подойдет... И подальше от кухни-то... Знает, как там ее встретят... К нам вот не боится!

И с этими словами Федос подозвал лохматую, далеко не неказистую собаку с умной мордой и, погладив ее, проговорил:

— Что, брат, попало от дурака-то?.. Покажи-ка спину!..

Лайка лизнула руку матроса.

Матрос осторожно осмотрел ее спину.

— Ну, Лаечка, не очень-то тебя ошпарили... Ты больше от досады, значит, визжала... Не бойся... Уж теперь я тебя в обиду не дам...

Собака опять лизнула руку и весело зама- хала хвостом.

— Вон и она чувствует ласку... Смотрите, барчук... Да что собака... Всякая насекомая и та понимает, да сказать только не может... Травка и та словно пискнет, как ты ее прида- вишь...

Много еще говорил словоохотливый Федос, и Шурка был совсем очарован. Но воспомина- ние об утке смущало его, и он беспокойно проговорил:

— А не пойдём ли, Чижик, посмотреть ут- ку?.. Не сломана ли у нее нога?

— Нет, видно, ничего... Вон она перевали- вается... Небось, без фершела поправилась? — засмеялся Федос и, понявши, что мальчику стыдно, погладил его по голове и прибавил: — Она, братец ты мой, уж не сердится... Прости- ла... А завтра мы ей хлеба принесем, если нас гулять пустят...

Шурка уже был влюблен в Федоса. И неред- ко потом, в дни своего отрочества и юноше-

ства, имея дело с педагогами, вспоминал о своем денщике-няньке и находил, что никто из них не мог сравниться с Чижиком.

В девятом часу вечера Федос уложил Шурку спать и стал рассказывать ему сказку. Но сонный мальчик не дослушал ее и, засыпая, проговорил:

— А я не буду обижать уток... Прощай, Чижик!.. Я тебя люблю.

В тот же вечер Федос стал устраивать себе уголок в комнате рядом с кухней.

Снявши с себя платье и оставшись в исподних и в ситцевой рубаше, он открыл свой сундучок, внутренняя доска которого была оклеена разными лубочными картинками и этикетками с помадных банок — тогда олеографий и иллюстрированных изданий еще не было, — и первым делом достал из сундука маленький потемневший образок Николая-чудотворца и, перекрестившись, повесил к изголовью. Затем повесил зеркальце и полотенце и, положив на козлы, заменявшие кровать, свой блинчатый тюфячок, постлал его простыней и накрыл ситцевым одеялом.

Когда все было готово, он удовлетворенно

оглядел свой новый уголок и, разувшись, сел на кровать и закурил трубку..

В кухне еще возился Иван, только что убравший самовар.

Он заглянул в комнатку и спросил:

— А ужинать разве не будете, Федос Никитич?

— Нет, не хочу...

— И Анютка не хочет... Видно, придется одному ужинать... А то чаю не угодно ли? У меня сахар завсегда водится! — проговорил, как-то плутовато подмигивая глазом, Иван.

— Спасибо на чае... Не стану...

— Что ж, как угодно! — как будто обижаюсь, сказал Иван, уходя.

Не нравился ему новый сожитель, очень не нравился. В свою очередь и Иван не пришелся по вкусу Федосу. Федос не любил вообще вестовщину и денщиков, а этого плутоватого и нахального повара в особенности. Особенно ему не понравились разные двусмысленные шуточки, которые он отпускал за обедом Анютке, и Федос сидел молча и только сурово хмурил брови. Иван тотчас же понял, отчего матросня сердится, и примолк, стараясь

поразить его своим высшим обращением и хвастливыми разговорами о том, как им довольны и как его ценят и барыня и барин.

Но Федос отмалчивался и решил про себя, что Иван совсем пустой человек. А за Лайку назвал его таки прямо бессовестным и прибавил:

— Тебя бы так ошпарить. А еще считаешь-ся матросом!

Иван отшутился, но затаил в своем сердце злобу на Федоса, тем более что его осрамили при Анютке, которая, видимо, сочувствовала словам Федоса.

— Однако, и спать ложиться! — проговорил вслух Федос, докурив трубку.

Он встал, торжественно-громко произнес «Отче наш» и, перекрестившись, лег в постель. Но заснуть еще долго не мог, и в голове его бродили мысли о прошлой пятнадцатилетней службе и о новом своем положении.

«Мальчонка добрый, а как с этими уживусь — с белобрысой да с лодырем?» — задавал он себе вопрос. В конце концов он решил, что как бог даст, и, наконец, заснул, вполне успокоенный этим решением.

VII

Федос Чижик, как и большая часть матросов того времени, когда крепостное право еще доживало свои последние годы и во флоте, как везде, царила беспощадная суровость и даже жестокость в обращении с простыми людьми, — был, разумеется, большим философом-фаталистом.

Все благополучие своей жизни, преимущественно заключавшееся в охране своего тела от побоев и линьков, а лица от серьезных повреждений — за легкими он не гнался и считал их относительным благополучием, — Федос основывал не на одном только добросовестном исполнении своего трудного матросского дела и на хорошем поведении согласно предъявляемым требованиям, а главнейшим образом на том, «как бог даст».

Эта не лишенная некоторой трогательности и присущая лишь русским простолюдинам исключительная надежда на одного только господ бога разрешала все вопросы и сомнения Федоса относительно его настоящей и будущей судьбы и служила едва ли не

единственной поддержкой, чтобы, как выражался Чижик, «не впасть в отчаянность и не попробовать арестантских рот».

И благодаря такой надежде он оставался все тем же исправным матросом и стойком, отводящим свою возмущенную людскою неправдой душу лишь крепкою бранью и тогда, когда даже воистину христианское терпение русского матроса подвергалось жестокому испытанию.

С тех пор как Федос Чижик, оторванный от сохи, был сдан благодаря капризу старухи-помещицы в рекруты и, никогда не видавший моря, попал, единственно из-за своего малого роста, во флот, — жизнь Федоса представляла собою довольно пеструю картину переходов от благополучия к неблагополучию, от благополучия к той, едва даже понятной теперь, невыносимой жизни, которую матросы характерно называли «каторгой», и обратно — от «каторги» к благополучию.

Если «давал бог», командир, старший офицер и вахтенные начальники попадались по тем суровым временам не особенно бешеные и дрались и пороли, как выражался Федос,

«не зря и с рассудком», то и Федос, как один из лучших марсовых, чувствовал себя спокойным и довольным, не боялся сюрпризов в виде линьков, и природное его добродушие и некоторый юмор делали его одним из самых веселых рассказчиков на баке.

Если же «бог давал» командира или старшего офицера, что называется на матросском жаргоне, «форменного арестанта», который за опоздание на несколько секунд при постановке или при уборке парусов приказывал «спустить шкуры» всем марсовым, то Федос терял веселость, делался угрюм и, после того как его драли как Сидорову козу, случалось, нередко загуливал на берегу. Однако все-таки находил возможным утешать падавших духом молодых матросов и с какою-то странною уверенностью для человека, спина которого сплошь покрыта синими рубцами с кровавыми подтеками, говорил:

— Бог даст, братцы, нашего арестанта переведут куда... Заместо его не такой дьявол поступит... Отдышимся. Не все же терпеть-то!

И матросы верили — им так хотелось верить, — что, «бог даст», уберут куда-нибудь

«арестанта».

И терпеть, казалось, было легче.

Федос Чижик пользовался большим авторитетом и в своей роте, и на судах, на которых плавал, как человек правильный, вдобавок с умом и лихой марсовой, не раз доказавший и знание дела и отвагу. Его уважали и любили за его честность, добрый характер и скромность. Особенно расположены к нему были молодые безответные матросики. Федос таких всегда брал под свою защиту, оберегая их от боцманов и унтер-офицеров, когда они слишком куражились и зверствовали.

Достоинно замечания, что в деле исправления таких боцманов Федос несколько отступал от своего фатализма, возлагая надежды не на одно только «как бог даст», но и на силу человеческого воздействия, и даже, главным образом, на последнее.

По крайней мере, когда увещательное слово Федоса, сказанное с глазу на глаз какому-нибудь неумеренному мордобою-боцману, слово, полное убедительной страстности пожалуй людей, не производило надлежащего впечатления и боцман продолжал по-прежнему

му драться «безо всякого рассудка», — Федос обыкновенно прибегал к предостережению и говорил:

— Ой, не зазнавайся, боцман, что вошь в коросте! Бог гордых не любит. Смотри, как бы тебя, братец ты мой, не проучили... Сам, небось, знаешь, как вашего брата проучивают!

Если к такому предостережению боцман оставался глух, Федос покачивал раздумчиво головой и строго хмурил брови, видимо, принимая какое-то решение.

Несмотря на свою доброту, он, однако, во имя долга и охранения неписанного обычного матросского права, собирал несколько достойных доверия матросов на тайное совещание о поступках боцмана-зверя, и на этом матросском суде Линча обыкновенно постановлялось решение: проучить боцмана, что и приводилось в исполнение при первом же съезде на берег.

Боцмана избивали где-нибудь в переулке Кронштадта или Ревеля до полусмерти и доставляли на корабль. Обыкновенно боцман того времени и не думал жаловаться на ви-

новников, объяснял начальству, что в пьяном виде имел дело с матросами с иностранных купеческих кораблей, и после такой серьезной «выучки» уже дрался с «большим рассудком», продолжая, конечно, ругаться с прежним мастерством, за что, впрочем, никто не был в претензии.

И Федос в таких случаях нередко говорил с обычным добродушием:

— Как выучили, так и человеком стал. Боцман как боцман...

Сам Федос не желал быть «начальством» — совсем это не подходило к его характеру, — и он решительно просил не производить его в унтер-офицеры, когда один из старших офицеров, с которым он служил, хотел представить Федоса.

— Будьте милостивы, ваше благородие, ослобоните от такой должности! — взмолился Федос.

Изумленный старший офицер спросил:

— Это почему?

— Не привержен я быть унтерцером, ваше благородие. Вовсе не по мне это звание, ваше благородие... Явите божескую милость, доз-

вольте остаться в матросах! — докладывал Федос, не объясняя, однако, мотивов своего нежелания.

— Ну, если не хочешь, как знаешь... А я думал тебя наградить...

— Рад стараться, ваше благородие! Премного благодарен, ваше благородие, что дозволили остаться матросом.

— И оставайся» коли ты такой дурак! — проговорил старший офицер.

А Федос ушел из каюты старшего офицера радостный и довольный, что избавился от должности, в которой приходилось «собачиться» со своим же братом-матросом и находиться в более непосредственных отношениях с господами офицерами.

«Ну их... От греха лучше подальше!»

Всего бывало в течение долгой службы Федоса. И пороли и били его, и похваливали и отличали. Последние три года службы его на «Копчике», под начальством Василия Михайловича Лузгина, были самыми благополучными годами. Лузгин и старший офицер были люди добрые по тем временам, и на «Копчике» матросам жилось относительно хорошо.

Не было ежедневных пороков, не было вечного трепета. Не было бессмысленной флотской муштры.

Василий Михайлович знал Федоса как отличного фор-марсового и, выбрав его загребным на свой вельбот, еще лучше познакомился с матросом, оценив его добросовестность и аккуратность.

И Федос думал, что, «бог даст», он прослужит еще три года с Василием Михайловичем тихо и спокойно, как у Христа за пазухой, а там его уволят в «бессрочную» до окончания положенного двадцатипятилетнего срока службы, и он пойдет в свою дальнюю симбирскую деревушку, с которой не порывал связей и раз в год просил какого-нибудь грамотного матроса писать к своему «дражайшему родителю» письмо, обыкновенно состоящее из добрых пожеланий и поклонов всем родным.

Матрос, не вовремя отдавший внизу марса-фал, которым оторвало Федосу, бывшему на марсе, два пальца, был невольным виновником в перемене судьбы Чижика.

Матроса жестоко отодрали, а Чижика немедленно отправили в кронштадский гос-

питаль, где ему вылушили оба пальца. Он выдержал операцию даже не охнув. Только стиснул зубы, и по его побледневшему от боли лицу катились крупные капли пота. Через месяц уж он был в экипаже.

По случаю потери двух пальцев он надеялся, что, «бог даст», его назначат в «неспособные» и уволят в бессрочный отпуск. По крайней мере, так говорил ротный писарь и советовал через кого-нибудь «исхлопотать». Таких примеров бывало!

Но исхлопотать за Федоса было некому, а сам он не решался беспокоить ротного командира. Как бы еще не попало за это.

Таким образом Чижик остался на службе и попал в няньки.

VIII

Прошел месяц с тех пор, как Федос поступил к Лузгиным.

Нечего и говорить, что Шурка был без ума от своей няньки, находился вполне под его влиянием и, слушая его рассказы о штормах и ураганах, которые доводилось испытать Чижику, о матросах и об их жизни, о том, как черные люди, арапы, почти голые ходят на далеких островах за Индийским океаном, слушая про густые леса, про диковинные фрукты, про обезьян, про крокодилов и акул, про чудное высокое небо и горячее солнышко, — Шурка сам непременно хотел быть моряком, а пока старался во всем подражать Чижику, который в то время был его идеалом.

С чисто детским эгоизмом он не отпускал от себя Чижика, чтоб быть всегда вместе, забывая даже и мать, которая со времени появления Чижика как-то отошла на второй план.

Еще бы! Она не умела так занятно рассказывать, не умела делать таких славных бумажных змеев, волчков и лодок, которые делал Чижик. И ко всему этому он с Чижиком

не чувствовал над собою придирчивой няньки. Они были больше приятелями, и, казалось, жили одними интересами, и часто, не стовариваясь, выражали одни и те же мнения.

Эта близость с денщиком-матросом несколько пугала Марью Ивановну, а некоторая отчужденность от матери, которую она, конечно, заметила, даже заставила ее ревновать Шурку к няньке. Кроме того, Марье Ивановне, как бывшей институтке и строгой ревнительнице манер, казалось, будто Шурка при Чижике немного огрубел и манеры его стали угловатее.

Тем не менее Марья Ивановна не могла не сознаться, что Чижик добросовестно исполняет свои обязанности и что при нем Шурка значительно поздоровел, не капризничает и не нервничает, как бывало прежде, и она совершенно спокойно уходила из дома, зная, что может вполне положиться на Чижика.

Но, несмотря на такое признание заслуг Чижика, он все-таки был несимпатичен молодой женщине. Она терпела Федоса только ради ребенка и обращалась с ним с высоко-

мерною холодностью и почти нескрываемым презрением барыни к мужлану-матросу. Главное, что возмущало ее в денщике — это недостаток в нем той почтительной угодливости, которую она любила в прислуге и которую особенно отличался ее любимец Иван. А в Федосе — никакой приветливости. Всегда несколько хмурый при ней, с служебным лаконизмом подчиненного отвечающий на ее вопросы, всегда отмалчивающийся на ее замечания, которые, по мнению Чижика, «белобрыся» делала зря, — он далеко не отвечал требованиям Марьи Ивановны, и она чувствовала, что этот матрос втайне далеко не признает ее авторитета и совсем не чувствует признательности за все те благодеяния, которые, казалось барыне, он получал, попав к ним в дом из казармы. Это возмущало барыню.

Чувствовал это отношение к себе «белобрысой» и Чижик, и сам, в свою очередь, недолюбливал ее, и главным образом за то, что она совсем уж утесняла бедную, безответную Анютку, шпыняя ее за всякую малость, сбивая с толку окриками и нередко давая ей

пощечины — и не то что с пыла, а прямо-таки от злого сердца, этак хладнокровно и еще с улыбочкой.

«Эка злющая ведьма!» — не раз думал про себя Федос, насупливая брови и становясь мрачным, когда бывал свидетелем, как «белобрысая», не спеша устремив большие серые и злые глаза на замершую в страхе Анютку, хлещет своею белою пухлою рукой в кольцах по худеньким, бледным щекам девушки.

И он жалел Анютку — быть может, даже более, чем жалел, — эту милovidную, загнанную девушку с испуганным взглядом синих глаз; и, случалось, когда барыни не было дома, ласково ей говорил:

— А ты не робей, Аннушка... Бог даст, недолго терпеть... Слышно, скоро волю всем объявят. Потерпи, а там уйдешь, куда захочешь, от своей ведьмы. Бог-то умудрил царя!

Эти участливые слова бодрили Анютку и наполняли ее сердце благодарным чувством к Чижикю. Она понимала, что он ее жалеет, и видела, что только благодаря Чижикю противный Иван не так нахально, как прежде, преследует ее своими любезностями.

Зато Иван ненавидел Федоса со всею силой своей мелкой душонки и вдобавок ревновал его, приписывая отчасти Чижикю полное невнимание Анютки к его особе, которую он считал довольно-таки привлекательною.

Ненависть эта еще более усилилась после того, как Федос однажды застал на кухне Анютку, отбивавшуюся от объятий повара.

При появлении Федоса Иван тотчас же оставил девушку и, приняв беспечно-развязный вид, проговорил:

— Шутю с дурой, а она сердится...

Федос стал мрачнее черной тучи.

Не говоря ни слова, подошел он вплотную к Ивану и, поднося к его побледневшему, испуганному лицу свой здоровенный волосатый кулак, едва сдерживаясь от негодования, произнес:

— Видишь?

Струсивший Иван зажмурил от страха глаза при столь близком соседстве такого громадного кулака.

— Тесто из подлой твоей хайлы сделаю, ежели ты еще раз тронешь девушку, подлец этакий!

— Я, право, ничего... Я только так... Пошутил, значит...

— Я тебе... пошутю... Нешто можно обижать так человека, бесстыжий ты кобель?

И, обращаясь к Анютке, благодарной и взволнованной, продолжал:

— Ты мне, Аннушка, только скажи, если он пристанет... Рыжая его морда будет на стороне... Это верно!

С этими словами он вышел из кухни.

В тот же вечер Анютка шепнула Федосу:

— Ну, теперь этот подлый человек будет еще больше наушничать на вас барыне... Уж он наушничал... Я слышала из-за дверей третьего дня... говорит: вы, мол, всю кухню провоняли махоркой...

— Пусть себе кляузничает! — презрительно бросил Федос. — Мне и трубки, что ли, не покурить? — прибавил он усмехаясь.

— Барыня страсть не любит простого табаку...

— А пусть себе не любит! Я не в комнатах курю, а в своем, значит, помещении... Тоже матросу без трубки нельзя.

После этого происшествия Иван во что бы

то ни стало хотел сжить ненавистного ему Федоса и, понимая, что барыня недолюбливает Чижика, стал при всяком удобном случае нашептывать барыне на Федоса.

Он, дескать, и с маленьким барином совсем вольно обращается, не так, как слуга, он и барыниной доброты не чувствует, он и с Анюткой что-то шепчется часто... Стыдно даже.

Все это говорилось намеками, предположениями, сопровождаемое уверениями в своей преданности барыне.

Молодая женщина все это слушала и стала с Чижиком ещё суровее и придирчивее. Она зорко наблюдала за ним и за Анюткой, часто входила невзначай будто в детскую, выпрашивала у Шурки, о чем с ним говорит Чижик, но никаких сколько-нибудь серьезных улик преступности Федоса найти не могла, и это еще более злило молодую женщину, тем более что Федос, как будто и не замечая, что барыня на него гневается, нисколько не изменял своих служебно-официальных отношений.

«Бог даст, белобрыся уходится», — думал

Федос, когда невольная тревога подчас закрадывалась в его сердце при виде ее недовольного, строгого лица.

Но «белобрысая» не переставала придирается к Чижикю, и вскоре над ним разразилась гроза.

IX

В одну субботу, когда Федос, только что вернувшийся из бани, пошел укладывать мальчика, Шурка, всегда делившийся впечатлениями со своим любимцем пестуном и сообщавший ему все домашние новости, тотчас же промолвил:

— Знаешь, что я скажу тебе, Чижик?..

— Скажи, так узнаю, — проговорил, усмехнувшись, Федос.

— Мы завтра едем в Петербург... к бабушке. Ты не знаешь бабушки?

— То-то не знаю.

— Она добрая-предобрая, вроде тебя, Чижик... Она — папина мать... С первым парходом едем...

— Что ж, дело хорошее, братец ты мой. И добрую бабку свою повидашь, и на пароходе прокатишься... Вроде быдто на море побывашь...

Наедине Федос почти всегда говорил Шурке «ты». И это очень нравилось мальчику и вполне соответствовало их дружеским отношениям и взаимной привязанности. Но в

присутствии Марьи Ивановны Чижик не позволял себе такой фамильярности: и Федос и Шурка понимали, что при матери нельзя было показывать интимной их короткости.

«Небось, прицепится, — рассуждал Федос, — дескать, барское дитё, а матрос его тыкает. Известно, фанаберистая барыня!»

— Ты, Чижик, разбуди меня пораньше. И новую курточку приготовь и новые сапоги...

— Все изготворю, будь спокоен... Сапоги отполирую в лучшем виде... Одно слово, в полном параде тебя отпущу... Таким будешь молодцом, что наше вам почтение! — весело и любовно говорил Чижик, раздевая Шурку. — Ну, теперь помолись-ка богу, Лександра Васильич.

Шурка прочитал молитву и юркнул под одеяло.

— А будить тебя рано не стану, — продолжал Чижик, присаживаясь около Шуркиной кровати: — в половине восьмого побужу, а то, не выспамшись, нехорошо...

— И маленькая Адя едет, и Анютка едет, а тебя, Чижик, мама не берет. Уж я просил маму, чтобы и тебя взяли с нами, так не хочет...

— Зачем меня брать-то? Лишний расход.

— С тобою было бы веселее.

— Небошь, и без меня не заскучишь... День-то не беда тебе без Чижика побыть... А я и сам попрошусь со двора. Тоже и мне в охотку погулять... Ты как полагаешь?

— Иди, иди, Чижик! Мама, верно, пустит...

— То-то надо бы пустить... Во весь месяц ни разу не ходил со двора...

— А ты куда же пойдешь, Чижик?

— Куда пойду? А сперва в церкву пойду, а потом к куме-боцманше заверну... Ейный муж мне старинный приятель... Вместе в дальнюю ходили... У них посижу... Покалякаем... А потом на пристань схожу, матросиков погляжу... Вот и гулянка... Однако спи, Христос с тобой!

— Прощай, Чижик! А я тебе гостинца от бабушки привезу... Она всегда дает...

— Кушай сам на здоровье, голубок!.. А коли не пожалеешь, лучше Анютке дай... Ей лестнее.

— И ей дам... и тебе! — сонным голосом пролепетал Шурка.

Шурка всегда угощал своего пестуна ла-

комствами, нередко нашивал ему и куски сахара. Но от них Чижик отказывался и просил Шурку не брать «господского припаса», чтобы не вышло какой кляузы.

И теперь, тронутый вниманием мальчика, он проговорил с нежностью, на какую только был способен его грубоватый голос:

— Спасибо тебе за ласку, милый... Спасибо... Сердчишко у тебя, у мальчика, доброе... И рассудлив по своему глупому возрасту... и прост... Бог даст, как вырастешь, и вовсе будешь форменным человеком... правильным... Никого не забидишь... И бог за то тебя любить будет... Так-то, брат, лучше... Никак уж и уснул?

Ответа не было. Шурка уже спал.

Чижик перекрестил мальчика и тихо вышел из комнаты.

На душе у него было светло и покойно, как и у этого ребенка, к которому старый, не знавший ласки матрос привязался со всею силою своего любящего сердца.

Х

На следующее утро, когда Лузгина, в нарядном шелковом голубом платье, с взбитыми начесами светло-русых волос, свежая, румяная, пышная и благоухающая, с браслетами и кольцами на белых пухлых руках, торопливо пила кофе, боясь опоздать на пароход, Федос приблизился к ней и сказал:

— Дозвольте, барыня, отлучиться со двора сегодня.

Молодая женщина подняла на матроса глаза и недовольно спросила:

— А тебе зачем идти со двора?

В первое мгновение Федос не знал, что и ответить на такой «вовсе глупый», по его мнению, вопрос.

— К знакомым, значит, сходить, — отвечал он после паузы.

— А какие у тебя знакомые?

— Известно, матросского звания...

— Можешь идти, — проговорила после минутного раздумья барыня. — Только помни, что я тебе говорила... Не вернись от своих знакомых пьяным! — строго прибавила она.

— Зачем пьяным? Я в своем виде вернусь, барыня!

— Без своих дурацких объяснений! К семи часам быть дома! — резко заметила молодая женщина.

— Слушаю-с, барыня! — с официальной почитительностью ответил Федос.

Шурка удивленно посмотрел на мать. Он решительно недоумевал, за что мама сердится и вообще не любит такого прелестного человека, как Чижик, и, напротив, никогда не бранит противного Ивана. Иван и Шурке не нравился, несмотря на его льстивое и заискивающее обращение с молодым барчуком.

Проводив господ и обменявшись с Шуркой прощальными приветствиями, Федос достал из глубины своего сундучка тряпицу, в которой хранился его капитал — несколько рублей, скопленных им за шитье сапог. Чижик недурно шил сапоги и умел даже шить с фасоном, вследствие чего, случалось, получал заказы от писарей, подшкиперов и баталеров.

Осмотрев свои капиталы, Федос вынул из тряпки одну засаленную рублевую бумажку, спрятал ее в карман штанов, рассчитывая из

этих денег купить себе восьмушку чаю, фунт сахару и запас махорки, а остальные деньги, бережно уложив в тряпочку, снова запрятал в уголок сундука и запер сундук на ключ.

Поправив огонек в лампадке перед образом у изголовья, Федос расчесал свои черные как смоль баки и усы, обулся в новые сапоги и, облачившись в форменную матросскую серую шинель с ярко горевшими медными пуговицами и надевши чуть-чуть набок фуражку, веселый и довольный вышел из кухни.

— Обедать нешто дома не будете? — кинул ему вдогонку Иван.

— То-то не буду!..

«Экая необразованная матросня! Как есть чучила», — мысленно напутствовал Федоса Иван.

И сам он, франтовато одетый в серый пиджак, в белой манишке, воротник которой был повязан необыкновенно ярким галстуком, с бронзовой цепочкой на жилете, глядя в окно на проходившего Чижика, презрительно оттопырил толстые свои губы, покачал кудластой головой с рыжими волосами, обильно умащенными коровьим маслом, и в

маленьких его глазках сверкнул огонек.

Федос первым делом направился в Андреевский собор и как раз попал к началу службы.

Купив копеечную свечку и пробравшись вперед, он поставил свечку у образа Никола-угодника и, вернувшись, стал совсем позади, в толпе бедного люда. Всю обедню он выстоял серьезный и сосредоточенный, стараясь направить мысли на божественное, и усердно и истово осенял себя широким, размашистым крестным знамением. При чтении евангелия он умилился, хотя и не все понимал, что читали. Умилялся и при стройном пении певчих и вообще находился в приподнятом настроении человека, отрешившегося от всяких житейских дрязг.

И, слушая пение, слушая слова любви и милосердия, произносимые мягким тенорком священника, Федос уносился куда-то в особый мир, и ему казалось, что там, «на том свете», будет необыкновенно хорошо и ему и всем матросам, куда лучше, чем было на грешной земле...

Нравственно удовлетворенный и как бы внутренне сияющий, вышел Федос по окончании службы из церкви и на паперти, где толпились по обе стороны и по бокам ступеней лестницы нищие, оделил по грошику десять человек, подавая преимущественно мужчинам и старикам.

Все еще занятый разными, как он называл, «божественными» мыслями насчет того, что господь все видит и если, попускает на свете неправду, то более всего для испытания человека, готовя потерпевшему на земле самую лучшую будущую жизнь, которой, разумеется, не видать как ушей своих форменным «арестантам» из капитанов и офицеров, — Чижик ходко шагал в один из дальних переулков, где в маленьком деревянном домишке нанимали комнату отставной боцман Флегонт Нилыч и его жена Авдотья Петровна, имевшая на рынке ларек со всякою мелочью.

Низенький и худощавый старик Нилыч, бодрый еще на вид, несмотря на свои шестьдесят с лишком лет, сидел за накрытым цветною скатертью столом в чистой ситцевой рубахе, широких штанах и в башмаках, надетых

на босые ноги, и слегка вздрагивающею костью рукою с предусмотрительной осторожностью наливал из полуштофа в стаканчик водку.

И в выражении его морщинистого, отливавшего старческим румянцем лица с крючковатым носом и большой бородавкой на выбритой по случаю воскресенья щеке и маленьких, все еще живых глаз было столько сосредоточенного благоговейного внимания, что Нилыч и не заметил, как в двери вошел Федос.

И Федос, словно бы понимая всю важность этого священнодействия, дал знать о своем присутствии только тогда, когда стаканчик был налит до краев и Нилыч его выцедил с видимым наслаждением.

— Флегонту Нилычу — низайшее! С праздником!

— А, Федос Никитич! — весело воскликнул Нилыч, как звали его все знакомые, пожимая Федосу руку. — Садись, братец, сейчас шти Авдотья Петровна принесет...

И, наливая вновь стаканчик, поднес его Федоту.

— Я, брат, уж колупнул.

— Будь здоров, Нилыч! — проговорил Чижик и, медленно выпив рюмку, крякнул.

— И где это ты пропадал?.. Уж я в казармы хотел идти... Думаю: совсем забыл нас... А еще кум...

— В денщики попал, Нилыч...

— В денщики?.. К кому?..

— К Лузгину, капитану второго ранга... Может, слышал?

— Слышал... Ничего себе... Ну-кось!.. вторично?..

И Нилыч снова налил стаканчик.

— Будь здоров, Нилыч!..

— Будь здоров, Федос! — проговорил и Нилыч, выпивая в свою очередь.

— С им-то ничего жить, только женка его, я тебе скажу...

— Зудливая нешто?

— Как есть заноза, и злющая. Ну, и о себе много полагает. Думает, что белая да ядреная, так уж лучше и нет...

— Ты у них по какой же части?

— В няньках при барчуке. Мальчонка славный, душевный мальчонка... Кабы не заноза

эта самая, легко было бы жить... А она всем в доме командует...

— А сам?

— То-то он у ней вроде бытто подвахтенного. Перед ей и не пикнет, а, кажется, с рассудком человек... Совсем в покорности.

— Это бывает, братец ты мой! Бы-вает! — протянул Нилыч.

Сам он, когда-то лихой боцман и «человек с рассудком», тоже находился под командой своей жены, хотя при посторонних и хорохорился, стараясь показать, что он ее нисколько не боится.

— Дайся только бабе в руки, она тебе покажет кузькину маменьку. Известно, в бабе настоящего рассудка нет, а только одна брехня, — продолжал Нилыч, понижая голос и в то же время опасливо посматривая на двери. — Бабу надо держать в струне, чтобы понимала начальство. Да что это моя-то копаются? Рази пойти ее шугануть!..

Но в эту минуту отворилась дверь и в комнату вошла Авдотья Петровна, здоровая, толстая и высокая женщина лет пятидесяти с очень энергичным лицом, сохранившим еще

остатки былой пригожести. Достаточно было взглянуть на эту внушительную особу, чтобы оставить всякую мысль о том, что низенький и сухонький Нилыч, казавшийся перед женой совсем маленьким, мог ее «шугануть». В засученных красных ее руках был завернутый в тряпки горшок со щами. Сама она так и пылала.

— А я думала: с кем это Нилыч стрекочет?.. А это Федос Никитич!.. Здравствуйте, Федос Никитич... И то забыли! — говорила густым, низким голосом боцманша.

И, поставивши горшок на стол, протянула куму руку и бросила Нилычу:

— Поднес гостю-то?

— А как же? Небось, тебя не дожидались!

Авдотья Петровна новела взглядом на Нилыча, точно дивясь его прыти, и разлила по тарелкам щи, от которых шел пар и вкусно пахло. Затем достала из шкафчика с посудой еще два стаканчика и наполнила все три.

— Что правильно, то правильно! Петровна, братец ты мой, рассудливая женщина! — заметил Нилыч не без льстивой нотки, умильно глядя на водку.

— Милости просим, Федос Никитич, — предложила боцманша.

Чижик не отказался.

— Будьте здоровы, Авдотья Петровна! Будь здоров, Нилыч!

— Будьте здоровы, Федос Никитич.

— Будь здоров, Федос!

Все трое выпили, у всех были серьезные и несколько торжественные лица. Перекрестившись, начали хлебать в молчании щи. Только по временам раздавался низкий голос Авдотьи Петровны:

— Милости просим!

После щей полуштоф был пуст.

Боцманша пошла за жареным и, возвратившись, вместе с куском мяса поставила на стол еще полуштоф.

Нилыч, видимо, подавленный таким благородством жены, воскликнул:

— Да, Федос... Петровна, одно слово...

К концу обеда разговор сделался оживленнее. Нилыч уже заплетал языком и размяк. Чижик и боцманша, оба красные, были клюкнувши, но нисколько не теряли своего достоинства.

Федос рассказывал о «белобрысой», о том, как она утесняет Анютку и какой у них подлый денщик Иван, и философствовал насчет того, что бог все видит и наверное быть Лузгинихе в аду, коли она не одумается и не вспомнит бога.

— Как вы полагаете, Авдотья Петровна?

— Другого места ей не будет, сволочи! — энергично отрезала боцманша. — Мне знакомая прачка тоже сказывала, какая она укусная сука...

— Небось, там, в пекле значит, ее отполируют в лучшем виде... От-по-ли-ру-ют! Сделайте одолжение! Не хуже, чем на флоте! — вставил Нилыч, имевший, по-видимому, об аде представление как о месте, где будут также отчаянно пороть, как и на кораблях. — А повару раскровяни морду. Не станет он тогда кляузничать.

— И раскровяню, ежели нужно будет... Совсем оголтелый пес. Добром не выучишь! — проговорил Чижик и вспомнил об Анютке.

Петровна стала жаловаться на дела. Со всем нынче подлые торговки стали, особенно

из молодых. Так и норовят из-под носа отбить покупателя.

— А мужчинское известное дело. Матрос да солдат к молодым торговкам лезет, как окунь на червя. Купит на две копейки, а сам, бесстыдник, норовит уколупнуть бабу на рубль... А другая подлющая баба и рада... Так зенками и вертит...

И, словно припомнив какую-то неприятность, Петровна приняла несколько воинственный вид, подперев бок своею здоровенною рукой, и воскликнула:

— А я терплю-терплю, а глаза черномазой Глашке выцарапаю! Знаете Глашку-то?.. — обратилась боцманша к Чижиху. — Вашего экипажа матроска... Марсового Ковшикова жена?..

— Знаю... За что же вы, Авдотья Петровна, хотите Глашку проучить?

— А за то самое, что она подлая! Вот за что... У меня покупателей неправильно отбивает... Вчера подошел ко мне антиллерист... Человек уж в возрасте в таком, что старому дьяволу нечего разбирать бабьи подлости... Ему на том свете уж и паек готов... Ну, подо-

шел к ларьку — так по правилам, значит, уж мой покупатель, и всякая честная торговка должна перестать драть глотку на зазыв... А Глашка вместо того, мерзавка, грудь пятит, чтобы ульстить антиллериста, и голосом воет: «Ко мне, кавалер! Ко мне, солдатик бравый!.. Я дешевле продам!» И зубы скалит, толсторожая... И что бы вы думали?.. Старый-то облезлый пес облестился, что его, дурака, молодая баба назвала бравым солдатиком, и к ней... У нее и купил. Ну, и отчесала же я их обоих: и антиллериста и Глашку!.. Да разве эту подлюгу словом проймешь!

Федос и в особенности Нилыч хорошо знали, что Петровна в минуты возбуждения ругалась не хуже любого, боцмана и могла, казалось, пронять всякого. Недаром все на рынке — и торговки и покупатели — боялись ее языка.

Однако мужчины из деликатности промолчали.

— Беспременно выцарапаю ей глаза, ежели еще раз Глашка осмелится! — повторила Петровна.

— Небось, не посмеет!.. С такой, можно ска-

зять, умственной бабой не посмеет! — проговорил Нилыч.

И, несмотря на то, что уже был достаточно «зарифившись» и еле плел языком, обнаружил, однако, дипломатическую хитрость, начав выхвалять добродетели своей супруги... Она, дескать, и большого ума, и хозяйственна, и мужа своего кормит... одним словом, такой другой женщины не сыскать по всему Кронштадту. После чего намекнул, что если бы теперь по стаканчику пива, то было бы самое лучшее дело... Только по стаканчику...

— Как ты об этом полагаешь, Петровна? — просительным тоном проговорил Нилыч.

— Ишь ведь, старый хрыч... к чему подъезжает!.. И без того слаб... А еще пива ему дай... То-то лестные слова молол, лукавый.

Однако Петровна говорила эти речи без сердца и, как видно, сама находила, что пиво вещь недурная, потому что вскоре надела на голову платок и вышла из комнаты.

Через несколько минут она вернулась, и несколько бутылок пива красовалось на столе.

— И провористая же баба Петровна, я тебе скажу, Федос... Ах, что за баба! — повторил в пьяном умилении Нилыч после двух стаканов пива.

— Ишь, разлимонило уже! — не без снисходительного презрения промолвила Петровна.

— Меня разлимонило? Старого боцмана?... Неси еще пару бутылок... Я один выпью... А пока вали, милая супруга, еще стаканчик...

— Будет с тебя...

— Петровна! Уважь супруга...

— Не дам! — резко ответила Петровна.

Нилыч принял обиженный вид.

Был уже пятый час, когда Федос, простившись с хозяевами и поблагодарив за угощение, вышел на улицу. В голове у него шумело, но ступал он твердо и с особенною аффектацией становился во фронт и отдавал честь при встрече с офицерами. И находился в самом добродушном настроении и всех почему-то жалел. И Анютку жалел, и встретившуюся ему на дороге маленькую девочку пожалел, и кошку, прошмыгнувшую мимо него, пожалел, и проходивших офицеров жалел.

Идут, мол, а того не понимают, что они несчастные... Бога-то забыли, а он, батюшка, все видит...

Сделав необходимые покупки, Федос пошел на Петровскую пристань, встретил там среди гребцов на ожидающих офицеров шлюпках знакомых, поговорил с ними, узнал, что «Копчик» находится теперь в Ревеле, и в седьмом часу вечера направился домой.

Лайка встретила Чижика радостным бреханьем.

— Здравствуй, Лаечка... Здорово, брат! — ласково приветствовал он собаку и стал ее гладить... — Что, кормили тебя?.. Небось, забыли, а? Погоди... принесу тебе... Чай, в кухне что найдется...

Иван сидел на кухне у окна и играл на гармони.

При виде Федоса, выпившего, он с довольным видом усмехнулся и проговорил:

— Хорошо погуляли?

— Ничего себе погулял...

И, пожалев, что Иван сидит дома один, прибавил:

— Иди и ты погуляй, пока господа не вер-

нутся, а я буду дом сторожить...

— Куда уж теперь гулять... Семь часов! Скоро и господу вернутся.

— Твое дело. А ты мне дай косточек, если есть...

— Бери... Вон лежат...

Чижик взял кости, отнес их собаке, и, вернувшись, присел на кухне, и неожиданно проговорил:

— А ты, братец мой, лучше живи по-хорошему... Право... И не напущай ты на себя форцу... Все помрем, а на том свете форцу, любезный ты мой, не спросят.

— Это вы в каких, например, смыслах?

— А во всяких... И к Анютке не приставай... Силком девку не привадишь, а она, сам видишь, от тебя бежит... За другой лучше гоняйся... Грешно забиждать девку-то... И так она забижена! — продолжал Чижик ласковым тоном. — И всем нам без свары жить можно... Я тебе без всякого сердца говорю...

— Уж не вам ли Анютка приглянулась, что вы так заступаетесь?.. — насмешливо проговорил повар.

— Глупый!.. Я в отцы ей гожусь, а не то

чтобы какие подлости думать.

Однако Чижик не продолжал разговора в этом направлении и несколько смутился.

А Иван между тем говорил вкрадчивым тенорком:

— Я, Федос Никитич, и сам ничего лучшего не желаю, как жить, значит, в полном с вами согласии... Вы сами мною пренебрегаете...

— А ты форц-то свой брось... Вспомни, что ты матросского звания человек, и никто тобой пренебрегать не будет... Так-то, брат... А то, в денщиках околачиваясь, ты и вовсе со-весть забыл... Барыне кляузничаешь... Разве это хорошо?.. Ой, нехорошо это... Неправильно...

В эту минуту раздался звонок. Иван бросился отворять двери. Пошел и Федос встречать Шурку.

Марья Ивановна пристально оглядела Федоса и произнесла:

— Ты пьян!..

Шурка, хотевший было подбежать к Чижик-у, был резко одернут за руку.

— Не подходи к нему... Он пьян!

— Никак нет, барыня... Я вовсе не пьян...

Почему вы полагаете, что я пьян?.. Я, как следует, в своем виде и все могу справлять... И Александру Васильича уложу спать и сказку расскажу... А что выпил я маленько... это точно... У боцмана Нилыча... В самую плепорцию... по совести.

— Ступай вон! — крикнула Марья Ивановна. — Завтра я с тобой поговорю.

— Мама... мама... Пусть меня Чижик уложит!

— Я сама тебя уложу! А пьяный не может укладывать.

Шурка залился слезами.

— Молчи, гадкий мальчишка! — крикнула на него мать... — А ты, пьяница, чего стоишь? Ступай сейчас же на кухню и ложись спать.

— Эх, барыня, барыня! — проговорил с выражением не то упрека, не то сожаления Чижик и вышел из комнаты.

Шурка не переставал реветь. Иван торжественно улыбался.

XII

На следующее утро Чижик, вставший, по обыкновению, в шесть часов, находился в мрачном настроении. Обещание Лузгиной «поговорить» с ним сегодня, по соображениям Федоса, не предвещало ничего хорошего. Он давно видел, что барыня терпеть его не может, зря придираясь к нему, и с тревогой в сердце догадывался, какой это будет «разговор». Догадывался и становился мрачнее, сознавая в то же время полную свою беспомощность и зависимость от «белобрысой», которая почему-то стала его начальством и может сделать с ним все, что ей угодно.

«Главная причина — зла на меня, и нет в ей ума, чтобы понять человека!»

Так размышлял о Лузгиной старый матрос и в эту минуту не утешался сознанием, что она будет на том свете в аду, а мысленно довольно-таки энергично выругал самого Лузгина за то, что он дает волю такой «злющей ведьме», как эта белобрысая. Ему бы, по-настоящему, следовало усмирить ее, а он...

Федос вышел на двор, присел на крыльце

и, порядочно-таки взволнованный, курил трубочку за трубочкой в ожидании, пока закипит поставленный им для себя самовар.

На дворе уже началась жизнь. Петух то и дело вскрикивал, как сумасшедший, приветствуя радостное, погожее утро. В зазеленевшем саду чирикали воробьи и заливалась малиновка. Ласточки носились взад и вперед, скрываясь на минутку в гнездах, и снова вылетали на поиски за добычей.

Но сегодня Федос не с обычным радостным чувством глядел на все окружающее. И когда Лайка, только что проснувшись, поднялась на ноги и, потянувшись всем своим телом, подбежала, весело повиливая хвостом, к Чижу, он поздоровался с ней, погладил ее и, словно бы отвечая на занимавшие его мысли, проговорил, обращаясь к ласкавшейся собаке:

— Тоже, брат, и наша жизнь вроде твоей собачьей... Какой попадетсЯ хозяин...

Вернувшись на кухню, Федос презрительно повел глазами на только что вставшего Ивана и, не желая обнаруживать перед ним своего тревожного состояния, принял спокойно-суровый вид. Он видел вчера, как злорад-

ствовал Иван в то время, когда кричала барыня, и, не обращая на него никакого внимания, стал пить чай.

На кухню вошла Анютка, заспанная, немытая, с румянцем на бледных щеках, имея в руках барынино платье и ботинки. Она поздоровалась с Федосом как-то особенно ласково после вчерашней истории и не кивнула даже в ответ на любезное приветствие повара с добрым утром.

Чижик предложил Анютке попить чайку и дал ей кусок сахара. Она наскоро выпила две чашки и, поблагодарив, поднялась.

— Пей еще... Сахар есть, — сказал Федос.

— Благодарствуйте, Федос Никитич. Надо барынино платье чистить поскорей. И неравно ребенок проснется...

— Давай я, что ли, почищу, а ты пока угощайся чаем!

— Тебя не просят! — резко оборвала повара Анютка и вышла из кухни.

— Ишь, какая сердитая, скажите, пожалуйста! — кинул ей вслед Иван.

И, покрасневший от досады, взглянул исподлобья на Чижика и, усмехнувшись, поду-

мал:

«Ужо будет тебе сегодня, матросне!»

Ровно в восемь часов Чижик пошел будить Шурку. Шурка уже проснулся и, припомнив вчерашнее, сам был невесел и встретил Федоса словами:

— А ты не бойся, Чижик... Тебе ничего не будет!..

Он хотел утешить и себя и своего любимца, хотя в душе и далеко был не уверен, что Чижикуну ничего не будет.

— Бойся — не бойся, а что бог даст! — отвечал, подавляя вздох, Федос. — С какой еще ноги маменька встанет! — угрюмо прибавил он.

— Как с какой ноги?

— А так говорится. В каком, значит, характере будет... А только твоя маменька напрасно полагает, что я вчера пьяный был... Пьяные не такие бывают. Ежели человек может как следует сполнять свое дело, какой же он пьяный?..

Шурка вполне с этим согласился и сказал:

— И я вчера маме говорил, что ты совсем не был пьян, Чижик... Антон не такой бывал... Он качался, когда шел, а ты вовсе не ка-

чался...

— То-то и есть... Ты вот малолеток и то понял, что я был в своем виде... Я, брат, знаю меру... И папенька твой ничего бы не сделал, увидавши меня вчерась. Увидал бы, что я выпил в плепорцию... Он понимает, что матросу в праздник не грех погулять... И никому вреда от того нет, а маменька твоя рассердилась. А за что? Что я ей сделал?..

— Я буду маму просить, чтоб она на тебя не сердилась... Поверь, Чижик...

— Верю, хороший мой, верю... Ты-то — добер... Ну, иди теперь чай пить, а я пока комнату твою убегу, — сказал Чижик, когда Шурка был готов.

Но Шурка, прежде чем идти, сунул Чижик-ку яблоко и конфетку и проговорил:

— Это тебе, Чижик. Я и Анютке оставил.

— Ну, спасибо. Только я лучше спрячу... После сам скушаешь на здоровье.

— Нет, нет... Непременно съешь... Яблоко пресладкое. А я попрошу маму, чтобы она не сердилась на тебя, Чижик... Попрошу! — снова повторил Шурка.

И с этими словами, озабоченный и встре-

воженный, вышел из детской.

— Ишь ведь — дитё, а чует, какова маменька! — прошептал Федос и принялся с каким-то усердным ожесточением убирать комнату.

XIII

Не прошло и пяти минут, как в детскую вбежала Анютка и, глотая слезы, проговорила:

— Федос Никитич! Вас барыня зовет!

— А ты чего плачешь?

— Сейчас меня била и грозит высечь...

— Ишь, ведьма!.. За что?

— Верно, этот подлый человек ей чего наговорил... Она сейчас на кухне была и вернулась злющая-презлющая...

— Подлый человек всегда подлого слушает.

— А вы, Федос Никитич, лучше повинитесь за вчерашнее... А то она...

— Чего мне виниться! — угрюмо промолвил Федос и пошел в столовую.

Действительно, госпожа Лузгина, вероятно, встала сегодня с левой ноги, потому что сидела за столом хмурая и сердитая. И когда Чижик явился в столовую и почтительно вытянулся перед барышней, она взглянула на него такими злыми и холодными глазами, что мрачный Федос стал еще мрачнее.

Смущенный Шурка замер в ожидании чего-то страшного и умоляюще смотрел на мать. Слезы стояли в его глазах.

Прошло несколько секунд в томительном молчании.

Вероятно, молодая женщина ждала, что Чижик станет просить прощения за то, что был пьян и осмелился дерзко отвечать.

Но старый матрос, казалось, вовсе и не чувствовал себя виновным.

И эта «бесчувственность» дерзкого «мужлана», не признающего, по-видимому, авторитета барыни, еще более злила молодую женщину, привыкшую к раболепию окружающих.

— Ты помнишь, что было вчера? — произнесла она наконец тихим голосом, медленно отчеканивая слова.

— Все помню, барыня. Я пьяным не был, чтобы не помнить.

— Не был? — протянула, зло усмехнувшись, барыня. — Ты, вероятно, думаешь, что пьян только тот, кто валяется на земле?..

Федос молчал: что, мол, отвечать на глупости!

— Я тебе что говорила, когда брала в денщики? Говорила я тебе, чтобы ты не смел пить? Говорила?.. Что ж ты стоишь как пень?.. Отвечай!

— Говорили.

— А Василий Михайлович говорил тебе, чтобы ты меня слушался и чтобы не смел грубить? Говорил? — допрашивала все тем же ровным, бесстрастным голосом Лузгина.

— Сказывали.

— А ты так-то слушаешь приказания?.. Я выучу тебя, как говорить с барыней... Я покажу тебе, как представляться тихоней да исподтишка заводить шашни... Я вижу... все знаю! — прибавила Марья Ивановна, бросая взгляд на Анютку.

Тут Федос не вытерпел.

— Это уж вы напрасно, барыня... Как перед господом богом говорю, что никаких шашней не заводил... А если вы слушаете кляузы да наговоры подлеца вашего повара, то как вам угодно... Он вам еще не то набрешет! — проговорил Чижик.

— Молчать! Как ты смеешь так со мной говорить?! Анютка! Принеси мне перо, чернила

и почтовой бумаги!

— Мама! — умоляющим, вздрагивающим голосом воскликнул Шурка.

— Убирайся вон! — прикрикнула на него мать.

— Мама... мамочка... милая... хорошая... Если ты меня любишь... не посылай Чижика в экипаж...

И, весь потрясенный, Шурка бросился к матери и, рыдая, припал к ее руке.

Федос почувствовал, что у него щекочет в горле. И хмурое лицо его просветлело в благодарном умилении.

— Пошел вон!.. Не твое дело!

И с этими словами она оттолкнула мальчика... Пораженный, все еще не веря решению матери, он отошел в сторону и плакал.

Лузгина в это время быстро и нервно писала записку к экипажному адъютанту. В этой записке она просила «не отказать ей в маленьком одолжении» — приказать высечь ее денщика за пьянство и дерзости. В конце записки она сообщала, что завтра собирается в Ораниенбаум на музыку и надеется, что Михаил Александрович не откажется ей сопут-

СТВОВАТЬ.

Запечатав конверт, она отдала его Чижикку и сказала:

— Сейчас отправляйся в экипаж и отдай это письмо адъютанту!

— Слушаю-с! — дрогнувшим голосом ответил матрос, хмуря нависшие брови и стараясь скрыть волнение, охватившее его.

Шурка рванулся к матери.

— Мамочка... ты этого не сделаешь... Чижик!.. Постой... не уходи! Он чудный... славный... Мамочка!.. милая... родная... Не посылай его! — молил Шурка.

— Ступай! — крикнула Лузгина денщику. — Я знаю, что ты подучил глупого мальчика... Думал меня разжалобить?..

— Не я учил, а бог! Вспомните его когда-нибудь, барыня! — с какою-то суровою торжественностью проговорил Федос и, кинув взгляд, полный любви, на Шурку, вышел из комнаты.

— Ты, значит, гадкая... злая... Я тебя не люблю! — вдруг крикнул Шурка, охваченный негодованием и возмущенный такою несправедливостью. — И я никогда не буду любить

тебя! — прибавил он, сверкая заплаканными глазенками.

— Вот ты какой?! Вот чему научил тебя этот мерзавец?! Ты смеешь так говорить с матерью?

— Чижик не мерзавец... Он хороший, а ты... нехорошая! — в бешеной отваге отчаяния продолжал Шурка.

— Так я и тебя выучу, как говорить со мной, мерзкий мальчишка! Анютка! Скажи Ивану, чтобы принес розги...

— Что ж... секи... гадкая... злая... Секи!.. — в каком-то диком ожесточении вопил Шурка.

И в то же время личико его покрывалось смертельною бледностью, все тело вздрагивало, а большие, с расширенными зрачками глаза с выражением ужаса смотрели на двери...

Раздирающие душу вопли наказываемого ребенка донеслись до ушей Федоса, когда он выходил со двора, имея за обшлагом рукава шинели записку, содержание которой не оставляло в матросе никаких сомнений.

Полный чувства любви и сострадания, он в эту минуту забыл о том, что ему самому под

конец службы предстоит порка, и, растроганный, жалел только мальчика. И он почувствовал, что этот барчук, не побоявшийся пострадать за своего пестуна, отныне стал ему еще дороже и совсем завладел его сердцем.

— Ишь ведь, подлая! Даже родное дитё не пожалела! — проговорил с негодованием Чижик и прибавил шагу, чтобы не слышать этого детского крика, то жалобного, молящего, то переходящего в какой-то рев затравленного, беспомощного зверька.

XIV

Молодой мичман, сидевший в экипажной канцелярии, был удивлен, прочитав записку Лузгиной. Он служил раньше в одной роте с Чижиком и знал, что Чижик считался одним из лучших матросов в экипаже и никогда не был ни пьяницей, ни грубияном.

— Ты что это, Чижик? Пьянствовать начал?

— Никак нет, ваше благородие...

— Однако... Марья Ивановна пишет...

— Точно так, ваше благородие...

— Так в чем же дело, объясни.

— Вчера выпил я маленько, ваше благородие, отпросившись со двора, и вернулся как следует, в настоящем виде... в полном, значит, рассудке, ваше благородие...

— Ну?

— А госпоже Лузгиной и покажись, что я пьян... Известно, по женскому своему понятию она не рассудила, какой есть пьяный человек...

— Ну, а насчет дерзостей?.. Ты нагрубил ей?

— И грубостей не было, ваше благородие... А что насчет ейного повара-денщика я сказал, что она слушает его подлые кляузы, это точно...

И Чижик правдиво рассказал, как было дело.

Мичман несколько минут был в раздумье. Он знаком был с Марией Ивановной, одно время был даже к ней равнодушен и знал, что эта дама очень строгая и придирчивая с прислугой и что муж ее довольно-таки часто посылал денщиков в экипаж для наказания, — разумеется, по настоянию жены, так как всем было известно в Кронштадте, что Лузгин, сам человек мягкий и добрый, находится под башмаком у красивой Марьи Ивановны.

— А все-таки, Чижик, я должен исполнить просьбу Марьи Ивановны, — проговорил, наконец, молодой офицер, отводя от Чижика несколько смущенный взор.

— Слушаю, ваше благородие.

— Ты понимаешь, Чижик, я должен... — мичман подчеркнул слово «должен», — ей верить. И Василий Михайлович просил, чтобы

требования его жены о наказаниях денщиков исполнялись, как его собственные.

Чижик понимал только, что его будут сечь по желанию «белобрысой», и молчал.

— Я тут, Чижик, ни при чем! — словно бы оправдывался мичман.

Он ясно сознавал, что совершает несправедливое и незаконное дело, собираясь наказать матроса по просьбе дамы, и что, по долгу службы и совести, не должен совершать его, имей он хоть немножко мужества. Но он был слабый человек и, как все слабые люди, успокаивал себя тем, что если Чижика он не накажет теперь, то по возвращении из плавания Лузгина матрос будет наказан еще беспощаднее. Кроме того, придется поссориться с Лузгиным и, быть может, иметь неприятности и с экипажным командиром: последний был дружен с Лузгиным, втайне, кажется, даже вздыхал по барыньке, прельщавшей старого, как спичка худенького, моряка главным образом своим пышным станом, и, не отличаясь большою гуманностью, находил, что матросу никогда не мешает «всыпать».

И молодой офицер приказал дежурному

приготовить все, что нужно, в цейхгаузе для наказания.

В большом цейхгаузе тотчас же была поставлена скамейка. Два унтер-офицера с напряженно-недовольными лицами стали по бокам, имея в руках по толстому пучку свежих зеленых прутьев. Такие же пучки лежали на полу — на случай, если понадобится менять розги.

Еще не совсем закалившийся, недолго служивший во флоте мичман, слегка взволнованный, стал поодаль.

Сознавая всю несправедливость предстоящего наказания, Чижик с какою-то угрюмой покорностью, чувствуя стыд и в то же время позор оскорбленного человеческого достоинства, стал раздеваться необыкновенно торопливо, словно ему было неловко, что он заставляет ждать и этих двух хорошо знакомых унтер-офицеров и молодого мичмана.

Оставшись в одной рубашке, Чижик перекрестился и лег ничком на скамейку, положив голову на скрещенные руки, и тотчас же зажмурил глаза.

Давно уже его не наказывали, и эта секун-

да-другая в ожидании удара была полна невыразимой тоски от сознания своей беспомощности и унижения... Перед ним пронеслась вся его безотрадная жизнь.

Мичман между тем подозвал к себе одного из унтер-офицеров и шепнул:

— Полегче!

Унтер-офицер просветлел и шепнул о том же товарищу.

— Начинай! — скомандовал молодой человек, отворачиваясь.

После десятка ударов, не причинивших почти никакой боли Чижик, так как эти зеленые прутья после энергичного взмаха едва только касались его тела, — мичман крикнул:

— Довольно! Явись после ко мне, Чижик!

И с этими словами вышел.

Чижик, по-прежнему угрюмый, испытывая стыд, несмотря на комедию наказания, торопливо оделся и проговорил:

— Спасибо, братцы, что не били... Одним только срамом отделался...

— Это адъютант приказывал. А тебя за что это прислали, Федос Никитич?

— А за то, что глупая и злющая баба у меня

теперь вроде главного начальника...

— Это кто же?..

— Лузгиниха...

— Известная живодерка! Часто присылает сюда денщиков! — заметил один из унтер-офицеров. — Как же ты будешь жить-то теперь у нее?

— Как бог даст... Надо жить... Ничего не поделаешь... Да и мальчонка ейный, у которого я в няньках, славный... И его, братцы, бросить жалко... Из-за меня и его секли... Заступался, значит, перед матерью...

— Ишь ты... Не в мать, значит.

— Вовсе не похож... Добер — страсть!

Чижик явился в канцелярию и прошел в кабинет, где сидел адъютант. Тот передал Чижикю письмо и проговорил:

— Отдай Марье Ивановне... Я ей пишу, что тебя строго наказали...

— Премного благодарен, что пожалели старого матроса, ваше благородие! — с чувством проговорил Чижик.

— Я что ж... Я, братец, не зверь... Я и совсем бы не наказал тебя... Я знаю, какой ты исправный и хороший матрос! — говорил все еще

смущенный мичман. — Ну, ступай к своей барыне... Дай тебе бог с ней ужиться... Да смотри... не болтай, как тебя наказывали! — прибавил мичман.

— Не извольте сумлеваться! Счастливого оставаться, ваше благородие!

XV

Шурка сидел, забившись в угол детской, с видом запуганного зверька. Он то и дело всхлипывал. При каждом новом воспоминании о нанесенной ему обиде рыдания подступали к горлу, он вздрагивал, и злое чувство прилиvalo к сердцу и охватывало все его существо. Он в эти минуты ненавидел мать, но еще более Ивана, который явился с розгами веселый и улыбающийся и так крепко сжимал его бьющееся тело во время наказания. Не держи его этот гадкий человек так крепко, он бы убежал.

И в голове мальчика бродили мысли о том, как он отомстит повару... Непременно отомстит... И расскажет папе, как только он вернется, как несправедливо поступила мама с Чижиком... Пусть папа узнает...

По временам Шурка выходил из своего угла и взглядывал в окно: не идет ли Чижик?.. «Бедный Чижик! Верно, и его больно секли... А он не знает, что и меня высекли за него. Я ему все... все расскажу!»

Эти мысли о Чижике несколько успокаивали

вали его, и он ждал возвращения своего друга с нетерпением.

Марья Ивановна, сама взволнованная, ходила по своей большой спальне, полная ненависти к денщику, из-за которого ее Шурка осмелился так говорить с матерью. Положительно этот матрос имеет скверное влияние на мальчика, и его следует удалить... Вот только вернется из плавания Василий Михайлович, и она попросит его взять другого денщика. А пока — нечего делать — придется терпеть этого грубияна. Наверное, он не посмеет теперь напиваться пьяным и грубить ей после того, как его в экипаже накажут... Необходимо было его проучить!

Марья Ивановна несколько раз тихонько заглядывала в детскую и снова возвращалась, напрасно ожидая, что Шурка придет просить прощения.

Раздраженная, она то и дело бранила Анютку и стала допрашивать ее насчет ее отношений с Чижиком.

— Говори, подлянка, всю правду... Говори... Анютка клялась в своей невинности.

— Повар, так тот, барыня, прохода мне не

давал! — говорила Анютка. — Все лез с разными подлостями, а Федос никогда и не думал, барыня...

— Отчего же ты раньше мне ничего не сказала о поваре? — подозрительно спрашивала Лузгина.

— Не смела, барыня... Думала, отстанет...

— Ну, я вас всех разберу... Ты смотри у меня!.. Поди узнай, что делает Александр Васильевич!

Анютка вошла в детскую и увидела Шурку, кивающего в окно возвращавшемуся Чижику.

— Барчук! Маменька приказали узнать, что вы делаете... Что прикажете сказать?

— Скажи, Анютка, что я пошел в сад погулять...

И с этими словами Шурка выбежал из комнаты, чтобы встретить Чижика.

XVI

Уворот Шурка бросился к Федосу.

Участливо заглядывая в его лицо, он крепко ухватился за шершавую, мозолистую руку матроса и, глотая слезы, повторял, ласкаясь к нему:

— Чижик... Милый, хороший Чижик!

Мрачное и смущенное лицо Федоса озарилось выражением необыкновенной нежности.

— Ишь ведь сердешный! — взволнованно прошептал он.

И, бросив взгляд на окна дома — не торчит ли «белобрысая», Федос быстрым движением поднял Шурку, прижал его к своей груди и осторожно, чтобы не уколоть его своими щетинистыми усами, поцеловал мальчика. Затем он так же быстро опустил его на землю и проговорил:

— Теперь иди домой поскорей, Лександра Васильич. Иди, мой ласковый...

— Зачем? Мы вместе пойдём.

— То-то не надо вместе. Неравно маменька из окна углядит, что ты ветрел свою няньку, и

опять засерчает.

— И пусть глядит... Пусть злится!

— Да ты никак бунтовать против маменьки? — промолвил Чижик. — Не годится, милый мой, Александра Васильич, бунтовать против родной матери. Ее почитать следует... Иди, иди... уж наговоримся...

Шурка, всегда охотно слушавший Чижика, так как вполне признавал его нравственный авторитет, и теперь готов был исполнить его совет. Но ему хотелось поскорей утешить друга в постигшем его несчастье, и потому, прежде чем уйти, он не без некоторого чувства горделивости произнес:

— А знаешь, Чижик, и меня высекли!

— То-то знаю. Слышал, как ты кричал, беденький... Из-за меня ты потерпел, голубчик!.. Бог тебе это зачтет, небось! Ну иди же, иди, родной, а то нам с тобой опять попадет...

Шурка убежал, еще более привязанный к Чижикю. Несправедливое наказание, которому они оба подверглись, сильнее закрепило их любовь.

Выждав минуту-другую у ворот, Федос твердою и решительною походкой направил-

ся через двор в кухню, стараясь под видом презрительной суровости скрыть пред посторонними невольный стыд высеченного человека.

Иван оглядел Чижика улыбающимися глазами, но Чижик даже и не удостоил обратить внимания на повара, точно его и не было на кухне, и прошел в свой уголок в соседней комнате.

— Барыня приказали, чтобы вы немедленно явились к ней, как вернетесь из экипажа! — крикнул ему из кухни Иван.

Чижик не отвечал.

Не спеша снял он шинель, переобулся в парусинные башмаки, достал из сундука яблоко и конфетку, данные ему утром Шуркой, сунул их в карман и, вынув из-за обшлага шинели письмо экипажного адъютанта, пошел в комнаты.

В столовой барыни не было. Там была одна Анютка. Она ходила взад и вперед по комнате, качивая ребенка и напевая своим приятным голоском какую-то песенку.

Заметив Федоса, Анютка подняла на него свои испуганные глаза. В них теперь свети-

лось выражение скорби и участия.

— Вам барыню, Федос Никитич? — шепнула она, подходя к Чижикю.

— Доложи, что я вернулся из экипажа, — промолвил смущенно матрос, опуская глаза.

Анютка направилась было в спальню, но в ту же минуту Лузгина вошла в столовую.

Федос молча подал ей письмо и отошел к дверям.

Лузгина прочла письмо. Видимо, удовлетворенная тем, что просьба ее была исполнена и что дерзкого денщика строго наказали, она проговорила:

— Надеюсь, наказание будет тебе хорошим уроком и ты не осмелишься более грубить...

Чижик угрюмо молчал.

А Лузгина между тем продолжала уже более мягким тоном:

— Смотри же, Феодосии, веди себя, как следует порядочному денщику... Не пей водки, будь всегда почтителен к своей барыне... Тогда и мне не придется наказывать тебя...

Чижик не ронял ни слова.

— Понял, что я тебе говорю? — возвысила голос барыня, недовольная этим молчанием

и угрюмым видом денщика.

— Понял!

— Так что ж ты молчишь?.. Надо отвечать, когда с тобой говорят.

— Слушаю-с! — автоматически отвечал Чижик.

— Ну, ступай к молодому барину... Можете идти в сад...

Чижик вышел, а молодая женщина вернулась в спальную, возмущенная бесчувственностью этого грубого матроса. Решительно Василий Михайлович не понимает людей. Расхваливал этого денщика, как какое-то сокровище, а он и пьет, и грубит, и не чувствует никакого раскаяния.

— Ах, что за грубый народ эти матросы! — произнесла вслух молодая женщина.

После завтрака она собралась в гости. Перед тем как уходить, она приказала Анютке позвать молодого барина.

Анютка побежала в сад.

В глубине густого, запущенного сада, под тенью раскидистой липы сидели рядом на траве Чижик и Шурка. Чижик мастерил бумажный змей и о чем-то тихо рассказывал.

Шурка внимательно слушал.

— Пожалуйте к маменьке, барчук! — проговорила Анютка, подбегая к ним, вся раскрасневшаяся.

— Зачем? — недовольно спросил Шурка, который чувствовал себя так хорошо с Чижи-ком, рассказывавшим ему необыкновенно интересные вещи.

— А не знаю. Маменька собралась со двора. Должно быть, хотят с вами проститься...

Шурка неохотно поднялся.

— Что, мама сердится? — спросил он Анютку.

— Нет, барчук... Отошли...

— А ты торопись, ежели маменька требует... Да смотри не бунтуй, Лександра Васильич, с маменькой-то. Мало ли что у матери с сыном выйдет, а все надо почитать родительницу, — ласково напутствовал Шурку Чижик, оставляя работу и закуривая трубочку.

Шурка вошел в спальню боязливо, имея обиженный вид, и смущенно остановился в нескольких шагах от матери.

В нарядном шелковом платье и белой шляпке, красивая, цветущая и благоухающая,

Марья Ивановна подошла к Шурке и, ласково потрепав его по щеке, проговорила с улыбкой:.

— Ну, Шурка, довольно дуться... Помиримся... Проси у мамы прощенья за то, что ты назвал ее гадкой и злой... Целуй руку...

Шурка поцеловал эту белую пухлую руку в кольцах, и слезы подступили к его горлу.

Действительно, он виноват: он назвал маму злой и гадкой. А Чижик недаром говорит, что грешно быть дурным сыном.

И Шурка, преувеличивая свою вину под влиянием охватившего его чувства, взволнованно и порывисто проговорил:

— Прости, мама!

Этот искренний тон, эти слезы, дрожавшие на глазах мальчика, тронули сердце матери. Она, в свою очередь, почувствовала себя виноватой за то, что так жестоко наказала своего первенца. Пред ней представилось его страдальческое личико, полное ужаса, в ее ушах слышались его жалобные крики, и жалость самки к детенышу охватила женщину. Ей хотелось горячо приласкать мальчика.

Но она торопилась ехать с визитами, и ей

было жаль нового парадного платья, и потому она ограничилась лишь тем, что, нагнувшись, поцеловала Шурку в лоб и сказала:

— Забудем, что было. Ты ведь больше не будешь бранить маму?

— Не буду.

— И любишь по-прежнему свою маму?

— Люблю.

— И я тебя люблю, моего мальчика. Ну, до свидания. Ступай в сад...

И с этими словами Лузгина потрепала еще раз Шурку по щеке, улыбнулась ему и, шелестя шелковым платьем, вышла из спальни.

Шурка возвращался в сад не совсем удовлетворенный. Впечатлительному мальчику и слова и ласки матери казались недостаточными и не соответствующими его переполненному чувством раскаяния сердцу. Но еще более его смущало то, что с его стороны примирение было не полное. Хотя он и сказал, что любит маму по-прежнему, но чувствовал в эту минуту, что в душе его еще осталось что-то неприязненное к матери, и не столько за себя, сколько за Чижика.

XVII

— Ну, как дела, голубок? Замирился с маменькой? — спрашивал Федос подошедшего тихими шагами Шурку.

— Помирился... И я, Чижик, прощения просил, что обругал маму...

— А разве такое было?

— Было... Я маму назвал злой и гадкой.

— Ишь ведь ты какой у меня отчаянный! Маменьку да как отчекрыжил!..

— Это я за тебя, Чижик, — поспешил оправдаться Шурка.

— То-то понимаю, что за меня... А главная причина — сердце твое не стерпело неправды... вот из-за чего ты взбунтовался, махонький... Оттого ты и Антона жалел... Бог за это простит, хучь ты и матери родной сгрубил... А все-таки это ты правильно, что повинился. Как-никак, а мать... И когда ежели человек чувствует, что виноват, — повинись. Что бы там ни вышло, а самому легче будет... Так ли я говорю, Александра Васильич? Ведь легче?..

— Легче, — проговорил раздумчиво мальчик.

Федос пристально поглядел на Шурку и спросил:

— Так что же ты ровно затих, посмотрю, а? Какая такая причина, Александра Васильич? Сказывай, а мы вместе обсудим. После замирения у человека душа бывает легкая, потому все тяжелое зло из души-то выскочит, а ты, гляди-кось, какой туманливый... Или маменька тебя позудила?..

— Нет, не то, Чижик... Мама меня не зудила...

— Так в чем же беда?.. Садись-ка на траву да сказывай... А я буду змея кончать... И важнецкий, я тебе скажу, у нас змей выйдет... Завтра утром, как ветерок подует, мы его спустим...

Шурка опустил на траву и несколько времени молчал.

— Ты вот говоришь, что зло выскочит, а у меня оно не выскочило! — вдруг проговорил Шурка.

— Как так?

— А так, что я все-таки сержусь на маму и не так люблю ее, как прежде... Это ведь нехорошо, Чижик? И хотел бы не сердиться, а не

могу...

— За что же ты сердишься, коли вы замирились?

— За тебя, Чижик...

— За меня? — воскликнул Федос.

— Зачем мама напрасно тебя посылала в экипаж? За что она называет тебя дурным, когда ты хороший?

Старый матрос был тронут этой привязанностью мальчика и этой живучестью возмущенного чувства. Мало того, что он потерпел за своего пестуна, он до сих пор не может успокоиться.

«Ишь ведь, божья душа!» — умиленно подумал Федос и в первое мгновение решительно не знал, что на это ответить и как успокоить своего любимца.

Но скоро любовь к мальчику подсказала ему ответ.

С чуткостью преданного сердца он понял лучше самых опытных педагогов, что надо уберечь ребенка от раннего озлобления против матери и во что бы то ни стало защитить в его глазах ту самую «подлую белобрысую», которая отравляла ему жизнь.

И он проговорил:

— А ты все-таки не сердись! Раскинь умишком, и сердце отойдет... Мало ли какое у человека бывает понятие... У одного, скажем, на аршин, у другого — на два... Мы вот с тобой полагаем, что меня здря наказали, а маменька твоя, может, полагает, что не здря. Мы вот думаем, что я не был пьяный и не грубил, а маменька, братец ты мой, может, думает, что, я и пьян был, и грубил, и что за это меня следовало отодрать по всей форме...

Перед Шуркой открывался, так сказать, новый горизонт. Но, прежде чем вникнуть в смысл слов Чижика, он не без участливого любопытства спросил самым серьезным тоном:

— А тебя очень больно секли, Чижик? Как Сидорову козу? — вспомнил он выражение Чижика. — И ты кричал?

— Вовсе даже не больно, а не то что как Сидорову козу! — усмехнулся Чижик.

— Ну?! А ты говорил, что матросов секут больно.

— И очень больно... Только меня, можно сказать, ровно и не секли. Так только, для сра-

му, наказали и чтобы маменьке угодить, а я и не слышал, как секли... Спасибо, добрый мичман в адъютантах... Он и пожалел... не приказал по форме сечь... Только ты, смотри, об этом не проговорись маменьке... Пусть думает, что меня как следует отодрали...

— Ай да молодец мичман!.. Это он ловко придумал. А меня, Чижик, так очень больно высекли...

Чижик погладил Шурку по голове и заметил:

— То-то я слышал и жалел тебя... Ну да что об этом говорить... Что было, то прошло.

Наступило молчание.

Федос хотел было предложить сыграть в дураки, но Шурка, видимо чем-то озабоченный, спросил:

— Так ты, Чижик, думаешь, что мама не понимает, что виновата перед тобой?

— Пожалуй, что и так. А может, и понимает, да не хочет показать виду перед простым человеком. Тоже бывают такие люди, которые гордые. Вину свою чуют, а не сказывают...

— Хорошо... Значит, мама не понимает,

что ты хороший, и от этого тебя не любит?

— Это ейное дело судить о человеке, и за то сердце против маменьки иметь никак невозможно... К тому же, по женскому званию, она и совсем другого рассудка, чем мужчина... Ей человек не сразу оказывается... Бог даст, опосля и она распознает, каков я есть, значит, человек, и станет меня лучше понимать. Увидит, что хожу я за ее сыночком как следует, берегу его, сказки ему сказываю, ничему дурному не научаю и что живем мы с тобой, Лександра Васильич, согласно, — сердце-то материнское, глядишь, свое и окажет. Любя свое дитё родное, и няньку евойную не станет утеснять дарма. Всё, братец ты мой, временем приходит, пока господь не умудрит... Так-то, Лександра Васильич... И ты зла не таи против своей маменьки, друг мой сердечный! — заключил Федос.

Благодаря этим словам мать была до некоторой степени оправдана в глазах Шурки, и он, просветлевший и обрадованный, как бы в благодарность за это оправдание, разрешившее его сомнения, порывисто поцеловал Чижика и уверенно воскликнул:

— Мама непременно полюбит тебя, Чи-
жик! Она узнает, какой ты! Узнает!

Федос, далеко не разделявший этой радост-
ной уверенности, с ласкою глядел на повесе-
левшего мальчика.

А Шурка оживленно продолжал:

— И тогда мы, Чижик, отлично заживем...
Никогда мама не пошлет тебя в экипаж... И
этого гадкого Ивана прогонит... Это ведь он
наговаривает на тебя маме... Я его терпеть не
могу... И меня он крепко давил, когда мама
секла... Как папа вернется, я ему все расскажу
про этого Ивана... Ведь правда, надо расска-
зать, Чижик?

— Не говори лучше... Не заводи кляуз, Лек-
сандра Васильич. Не путайся в эти дела... Ну
их! — брезгливо промолвил Федос и махнул
рукой с видом полнейшего пренебрежения. —
Правда, брат, сама скажет, а жаловаться бар-
чуку на прислугу без крайности не годится...
Другой несмышленный да озорной ребенок и
здря родителям пожалуется, а родители не
разберут и прислугу отшлифуют. Небось, не
сладко. Тоже и Иван этот самый... Хучь он и
довольно даже подлый человек, что на своего

же брата господам брешет, а ежели по-настоящему-то рассудить, так он и совесть-то потерял не по своей только вине. Он, например, ежели пришел наушничать, так ты его, подлеца, в зубы, да раз, да два, да в кровь, — говорил, загораясь негодованием, Федос. — Небось, больше не придет... И опять же: Иван все в денщиках околачивался, ну и вовсе бессовестным стал... Известно ихнее лакейское дело: настоящей, значит, трудливой работы нет, а прямо сказать — одна только фальшь... Тому угоди, тому подай, к тому подлестись, — человек и фальшит да брюхо отращивает, да чтобы скуснее объедки господские сожрать... Будь он форменным матросом, может, и Иван этой в себе подлости не имел... Матросики вывели бы его на линию... Так обломали бы его, что мое вам почтение!.. То-то оно и есть!.. И Иван стал бы другим Иваном... Однако брешу я, старый, только скуку навожу на тебя, Александра Васильич... Давай-ка в дураки, а то в рамцу... Веселее будет...

Он вынул из кармана карты, вынул яблоко и конфетку и, подавая Шурке, промолвил:
— Накось, покушай...

— Это твое, Чижик...

— Ешь, говорят... Мне и скусу не понять, а тебе лестно... Ешь!

— Ну, спасибо, Чижик... Только ты возьми половину.

— Разве кусочек... Ну, сдавай, Александра Васильич... Да смотри, опять не объегорь няньку... Третьего дня все меня в дураках оставлял! Дошлый ты в картах! — промолвил Федос.

Оба примостились поудобнее на траве, в тени, и стали играть в карты.

Скоро в саду раздался веселый, торжествующий смех Шурки и намеренно ворчливый голос нарочно проигрывающего старика:

— Ишь ведь, опять оставил в дураках... Ну ж и дока ты, Александра Васильич!

XVIII

Конец августа на дворе. Холодно, дождливо и неприветливо. Солнца не видать из-за свинцовых туч, окутавших со всех сторон небо. Ветер так и гуляет по грязным кронштадтским улицам и переулкам, напевая тоскливую осеннюю песню, и порой слышно, как ревет море.

Большая эскадра старинных парусных кораблей и фрегатов уже возвратилась из долгого крейсерства в Балтийском море под начальством известного в те времена адмирала, который, охотник выпить, говорил, бывало, у себя за обедом: «Кто хочет быть пьян — садись подле меня, а кто хочет быть сыт — садись подле брата». Брат был тоже адмирал и славился обжорством.

Корабли втянулись в гавань и разоружались, готовясь к зимовке. Кронштадтские рейды опустели, но зато затихшие летом улицы оживились.

«Копчик» еще не вернулся из плавания. Его ждали со дня на день.

В квартире у Лузгиных стоит тишина, та

подавляющая тишина, которая бывает в домах, где есть тяжелобольные. Все ходят на цыпочках и говорят неестественно тихо.

Шурка болен и болен серьезно. У него воспаление обоих легких, которым осложнилась бывшая у него корь. Вот уж две недели, как он лежит пластом на своей кроватке, исхудалый, с осунувшимся личиком и лихорадочно блестящими глазами, большими и скорбными, покорно притихший, точно подстреленная птица. Доктор ходит два раза в день, и его добродушное лицо при каждом посещении делается все серьезнее и серьезнее, причем губы как-то комично вытягиваются, точно они ими выражают опасность положения.

Все это время Чижик находился безотлучно при Шурке. Больной настоятельно требовал, чтобы Чижик был при нем, и рад был, когда Чижик давал ему лекарство, и улыбался подчас, слушая его веселые сказки. По ночам Чижик дежурил, словно на вахте, на кресле около Шуркиной кровати и не спал, сторожа малейшее движение тревожно спавшего мальчика. А днем Чижик успевал бегать и в аптеку, и по разным делам и находил время

смастерить какую-нибудь самодельную игрушку, которая заставила бы улыбнуться его любимца. И все это делал как-то незаметно и покойно, без суеты и необыкновенно быстро, и при этом лицо его светилось выражением чего-то спокойного, уверенного и приветливого, что успокоительно действовало на больного.

И в эти дни сбылось то, о чем говорил в саду Шурка. Обезумевшая от горя и отчаяния мать, сама похудевшая от волнения и недосыпавшая ночей, только теперь начала узнавать этого «бесчувственного, грубого мужлана», невольно дивясь той нежности его натуры, которая обнаружилась в его неустанном уходе за больным и невольно заставила мать быть благодарной за сына.

В этот вечер ветер особенно сильно завывал в трубах. В море было очень свежо, и Марья Ивановна, подавленная горем, сидела в своей спальне... Каждый порыв ветра заставлял ее вздрагивать и вспоминать то о муже, который шел в эту ужасную погоду из Ревеля в Кронштадт, то о Шурке.

Доктор недавно ушел, серьезнее, чем ко-

гда-либо...

— Надо ждать кризиса... Бог даст, мальчик вынесет... Давайте мускус и шампанское... Ваш денщик — отличная сиделка... Пусть он продежурит ночь около больного и дает ему как приказано, а вам следует отдохнуть... Завтра утром буду...

Эти слова доктора невольно восстают в памяти, и слезы льются из ее глаз... Она шепчет молитвы, крестится... Надежда сменяется отчаянием, отчаяние — надеждой.

Вся в слезах, она прошла в детскую и приблизилась к кровати.

Федос тотчас же встал.

— Сиди, сиди, пожалуйста, — шепнула Лузгина и заглянула на Шурку.

Он был в забытьи и прерывисто дышал... Она приложила руку к его голове — от нее так и пышало жаром.

— О господи! — простонала молодая женщина, и слезы снова хлынули из ее глаз...

В слабо освещенной комнате царила тишина. Только слышалось дыхание Шурки да порою доносился сквозь закрытые ставни заунывный стон ветра.

— Вы бы шли отдохнуть, барыня, — почти шепотом проговорил Федос: — не извольте сумлеваться... Я все справлю около Лександра Васильича...

— Ты сам не спал несколько ночей.

— Нам, матросам, дело привычное... И я даже вовсе спать не хочу... Шли бы, барыня! — мягко повторил он.

И, глядя с состраданием на отчаяние матери, он прибавил:

— И, осмелюсь вам доложить, барыня, не приходите в отчаянность. Барчук на поправку пойдет.

— Ты думаешь?

— Беспременно поправится! Зачем такому мальчику умирать? Ему жить надо.

Он произнес эти слова с такою уверенностью, что надежда снова оживила молодую женщину.

Она посидела еще несколько минут и поднялась.

— Какой ужасный ветер! — проронила она, когда снова с улицы донесся вой. — Как-то «Копчик» теперь в море? С ним не может ничего случиться? Как ты думаешь?

— «Копчик» и не такую штурму выдерживал, барыня. Небось, взял все рифы и знай покачивается себе, как бочонок... Будьте обнадежены, барыня... Слава богу, Василий Михайлович форменный командир...

— Ну, я пойду вздремнуть... Чуть что — разбуди.

— Слушаю-с. Покойной ночи, барыня!

— Спасибо тебе за все... за все! — прошептала с чувством Лузгина и, значительно успокоенная, вышла из комнаты.

А Чижик всю ночь бодрствовал, и когда на следующее утро Шурка, проснувшись, улыбнулся Чижигу и сказал, что ему гораздо лучше и что он хочет чаю, Чижик широко перекрестился, поцеловал Шурку и отвернулся, чтобы скрыть подступающие радостные слезы.

На другой день вернулся Василий Михайлович.

Узнавши от жены и от доктора, что Шурку выходил главным образом Чижик, Лузгин, счастливый, что обожаемый сын его вне опасности, горячо благодарил матроса и предло-

жил ему сто рублей.

— При отставке пригодятся, — прибавил он.

— Осмелюсь доложить, вашескобродие, что денег взять не могу, — проговорил несколько обиженно Чижик.

— Почему это?

— А потому, вашескобродие, что я не из-за денег за вашим сыном ходил, а любя...

— Я знаю, но все-таки Чижик... Отчего не взять?

— Не извольте обижать меня, вашескобродие... Оставьте при себе ваши деньги.

— Что ты?.. Я и не думал тебя обижать!.. Как хочешь... Я тоже, брат, от чистого сердца тебе предлагал! — несколько сконфуженно проговорил Лузгин.

И, взглянув на Чижика, вдруг прибавил:

— И какой же ты, я тебе скажу, славный человек, Чижик!..

XIX

Федос благополучно пробыл у Лузгиных три года, пока Шурка не поступил в Морской корпус, и пользовался общим уважением. С новым денщиком-поваром, поступившим вместо Ивана, он был в самых дружеских отношениях.

И вообще жилось ему эти три года недурно. Радостная весть об освобождении крестьян пронеслась по всей России... Повеяло новым духом, и сама Лузгина как-то подобрела и, слушая восторженные речи мичманов, стала лучше обходиться с Анюткой, чтобы не прослыть ретроградкой.

Каждое воскресенье Федос отпрашивался гулять и после обедни шел в гости к приятелю-боцману и его жене, философствовал там и к вечеру возвращался домой хотя и порядочно «треснувши», но, как он выражался, «в полном своем рассудке».

И госпожа Лузгина не сердилась, когда Федос, случалось, при ней говорил Шурке, отдавая ему непременно какой-нибудь гостинец:

— Ты не думай, Александра Васильич, что я

пьян... Не думай, голубок... Я все как следует могу справиться...

И, словно бы в доказательство, что может, забирал сапоги и разное платье Шурки и усердно их чистил.

Когда Шурку определили в Морской корпус, вышла и Федосу отставка. Он побывал в деревне, скоро вернулся и поступил сторожем в петербургском адмиралтействе. Раз в неделю он обязательно ходил к Шурке в корпус, а по воскресеньям навещал Анютку, которая после воли вышла замуж и жила в няньках.

Выйдя в офицеры, Шурка, до настоянию Чижика, взял его к себе. Чижик вместе с ним ходил в кругосветное плаванье, продолжал быть его нянькой и самым преданным другом. Потом, когда Александр Васильевич женился, Чижик нянчил его детей и семидесятилетним стариком умер у него в доме.

Память о Чижике свято хранится в семье Александра Васильевича. И сам он, с глубокою любовью вспоминая о нем, нередко говорит, что самым лучшим воспитателем его был Чижик.

Примечания

Замолчи! (франц.).

[^^^]